

Инга МИЦОВА

ИСТОРИЯ
ОДНОЙ
СЕМЬИ

(XX век:
Болгария —
Россия)



Монограмма

Инга Мицова

**История одной семьи (XX
век. Болгария – Россия)**

«Грифон»

2008

УДК 94(47).084(092)+94(497.2)
ББК 63.3(6)6+63.3(4Бол)

Мицова И. З.

История одной семьи (XX век. Болгария – Россия) /
И. З. Мицова — «Грифон», 2008 — (Монограмма)

<p id=" __GoBack">Главный герой этой книги – Здравко Васильевич Мицов (1903–1986), генерал, профессор, народный врач Народной Республики Болгарии, Герой Социалистического Труда. Его жизнь тесно переплелась с грандиозными – великими и ужасными – событиями XX века. Участник революционной борьбы на своей родине, он проходит через тюрьмы Югославии, Австрии, Болгарии, бежит из страны и эмигрирует в СССР. В Советском Союзе начался новый этап его жизни. Впоследствии он писал, что «любовь к России – это была та начальная сила, которой можно объяснить сущность всей моей жизни». Окончив Военно-медицинскую академию (Ленинград), З. В. Мицов защитил диссертацию по военной токсикологии и 18 лет прослужил в Красной армии, отдав много сил и энергии подготовке военных врачей. В период массовых репрессий был арестован по ложному обвинению в шпионаже и провел 20 месяцев в ленинградских тюрьмах. Принимал участие в Великой Отечественной войне. После ее окончания вернулся в Болгарию, где работал до конца своих дней. Воспоминания, написанные его дочерью, – интересный исторический источник, который включает выдержки из дневников, записок, газетных публикаций и других документов эпохи. Для всех, кто интересуется историей болгаро-русских взаимоотношений и непростой отечественной историей XX века.

УДК 94(47).084(092)+94(497.2)
ББК 63.3(6)6+63.3(4Бол)

© Мицова И. З., 2008

© Грифон, 2008

Содержание

Москва – София: жизнь и судьба	7
От автора	10
Вместо предисловия. Отец	11
Часть 1. Профессиональный революционер	18
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Инга Мицова
История одной семьи (XX
век. Болгария – Россия)

© Грифон, 2008

© Мицова И. З.

© В. С. Голубев, оформление

Москва – София: жизнь и судьба

Эта книга – о семьях Мицовых и Курдюмовых, судьбы которых пересеклись в начале XX века. Они стали очевидцами и участниками великих и трагических событий, резко изменивших ход истории. Главным действующим лицом книги является болгарин Здравко Васильевич Мицов (1903–1986), генерал медицинской службы. В ранней молодости он становится профессиональным революционером на своей родине – в Болгарии, выполняет важные задания ЦК болгарской компартии и Коминтерна, проходит через тюрьмы Югославии, Австрии, Болгарии, бежит из страны и эмигрирует в СССР.

В Советском Союзе начинается новый этап его жизни. Как он впоследствии писал, «любовь к России – это была та начальная сила, которой можно объяснить сущность всей моей жизни». Он заканчивает Военно-медицинскую академию в Ленинграде, защищает диссертацию по военной токсикологии и становится одним из немногих специалистов этого профиля в Красной армии. В это же время его жизнь пересекается с жизнью Веры Курдюмовой и ее семьи, замечательных русских людей.

В период массовых репрессий Здравко Васильевич был арестован по ложному обвинению в шпионаже и провел 20 месяцев в ленинградских тюрьмах. Впоследствии принимал участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и в подготовке военных врачей для действующей армии. После Победы вернулся в Болгарию, где работал до конца своих дней.

На страницах книги подробно описана обстановка в тех странах, где ему довелось побывать на протяжении своей жизни, а также рассказано о людях, с которыми он встречался и был близок. Приводится много выдержек из дневников (в первую очередь самого З. В. Мицова), писем, различных публикаций и других документов эпохи.

Значительная часть книги посвящена самому трагическому времени в жизни ее персонажей – Великой Отечественной войне. Эти страницы нельзя читать без волнения: семья Здравко Васильевича вместе с многочисленными родственниками оказалась на оккупированной территории; сам он работал в осажденном Ленинграде, а позже – в Самарканде, в эвакуации. Его дочь Инга – автор этой книги – сумела передать свои ощущения того времени: читатель знакомится с яркими воспоминаниями девочки-подростка, что придает тексту особую убедительность.

Далее рассказано о переезде Здравко Васильевича с семьей в освобожденную Болгарию; этот отрезок его жизни тоже оказался насыщен множеством событий и впечатлений (показаны его усилия по внедрению в Болгарии научных и методических принципов советской медицины, успехи и достижения на этом поприще). Интересна также судьба его детей: дочь Инга вернулась в СССР, а сын Владимир остался с родителями в Болгарии. Связь с СССР, любовь к России, как и в прежние годы, определяют жизненные направления этой семьи.

Заключительная часть книги охватывает 1970–1980 гг.: Здравко Васильевич после отставки и выхода на пенсию как бы обрел новое дыхание. Он переключился на литературную работу (часть его исторических и мемуарных трудов опубликована), создал ряд мемориальных комплексов, посвященных деятельности знаменитого русского врача Н. И. Пирогова во время Освободительной войны в Болгарии... Но время истекает – и эта часть книги наполнена щемящей грустью: угасают и уходят из жизни ее главные герои...

На страницах книги сделана попытка осмыслить итоги богатой и сложной судьбы, выпавшей на долю Здравко Васильевича Мицова и Веры Вячеславовны Курдюмовой, показать читателю яркий и поучительный пример того, как человек, выбрав себе жизненный идеал, с юных лет оставался ему верен.

В книге упоминается более 200 имен. Это видные деятели международного коммунистического движения: не только самые известные лидеры – Георгий Димитров, Вилко Червенков, Трайчо Костов и другие, – но и рядовые борцы, геройски погибшие в революционной борьбе за

высокие идеалы на своей родине (а некоторые павшие жертвами репрессий в СССР). Это старая профессура Военно-медицинской академии, оказавшая огромное влияние на становление Здравко Васильевича как человека и ученого. Это его друзья и знакомые, люди разных профессий и рода занятий, но все – незаурядные и интересные. Это обширный круг родственников в Болгарии и в России, особенно со стороны его жены – замечательной русской женщины Веры Вячеславовны Курдюмовой. О представителях семьи Курдюмовых из Рыльска рассказано обстоятельно и, главное, интересно.

Ценность данной книги имеет еще один аспект: страноведческий и народоведческий. По истории России (Советского Союза) мы за последние десятилетия накопили огромный массив публикаций; а вот применительно к Болгарии ситуация иная. Болгаро-советские отношения в XX веке – это поистине terra incognita для современного российского читателя. Мемуарных публикаций по этой теме на книжном рынке России фактически нет. Самый, пожалуй, интересный источник – «Дневник» Георгия Димитрова опубликован, увы, только в Болгарии на болгарском языке¹ (некогда он хранился в специальном сейфе в здании ЦК БКП в Софии и представлял собой, наверное, самый секретный документ в Народной Республике Болгарии). Димитрова после Лейпцигского процесса (1933) не случайно считали вторым по влиянию деятелем международного коммунистического движения после И. В. Сталина. Напомним, что Г. Димитров возглавлял Коминтерн (Коммунистический Интернационал) – международную организацию, объединявшую коммунистические партии различных стран в первой половине XX века. В книге Инги Мицовой содержится ряд интересных сведений, касающихся Георгия Димитрова, с которым ее отец имел ряд деловых встреч, рассказано и о некоторых обстоятельствах частной жизни Димитрова и его семьи.

Описана также обстановка в Болгарии во время обострения взаимоотношений Сталина с Тито и Димитровым в связи с планами создания так называемой Балканской федерации. В частности, рассказано об организации процесса Трайчо Костова и его группы² – крупнейшего политического процесса в Болгарии, сыгравшего ту же роль, что и печально знаменитые Московские процессы 1930-х гг. в СССР. В книге содержатся воспоминания автора о сыне и дочери Вилко Червенкова, руководившего Болгарией после Димитрова, о нелегкой, трагической судьбе этой семьи. Очень интересны рассказы Инги Мицовой о судьбе родственников видных государственных и партийных деятелей – В. В. Шмидта, наркома труда РСФСР (и первого наркома труда СССР), И. П. Товстухи, секретаря Сталина и заместителя директора Института Маркса – Энгельса – Ленина.

Сводный брат автора, священник о. Георгий, так комментирует основную мысль этой книги: «Нас не было, нас не будет, но нам дана возможность сделать свой выбор. Другой возможности у нас не будет. Есть родословная, есть связь с предками вообще и с мирозданием в частности – и есть возможность “уцепиться” за Бога. Мы оказываемся звеном цепи не только между прошлым и будущим, но и между землей и Небом. Наш выбор есть мы сами. И насколько правильно мы сделаем выбор, настолько и наши предки из материального мира могут перейти в духовный и сделать следующий шаг в вечное будущее, потому что если *мы* не сделаем этого выбора, то неизвестно, смогут ли вообще его сделать наши потомки. Важно не прятаться от смерти, а ощутить необходимость следующего шага».

От того, насколько достойно прожили свою жизнь многие поколения предков, зависит судьба их потомков; они как бы помогают не оступиться, поддерживают в трудных обстоятель-

¹ Димитров, Георги. Дневник (9 мар. 1933–6 февр. 1949). София, 1997. Рецензии в нашей печати: Куманов М. // Славяноведение. 2000. № 1. С. 115–118; Марыина В. В. Дневник Г. Димитрова // Вопросы истории. 2000. № 7. С. 53–55.

² О значении этого процесса для Сталина свидетельствуют и публикации на русском языке: Обвинительный акт Главной прокуратуры НРБ по делу Трайчо Костова и его сообщников. М., 1949 (Приложение к журналу «Новое время» № 50 от 7 дек. 1949 г.); Судебный процесс Трайчо Костова и его группы: Сб. материалов. София, 1949.

ствах. Но и потомки незримо связаны с предками и, видимо, тоже мистически помогают им – на каком-то своем уровне...

Эти воспоминания – нравственный урок; эти воспоминания – повод задуматься над вечными вопросами о жизни и смерти – и попробовать ответить на них.

Эти воспоминания дают нам прекрасную возможность лишний раз задуматься и над непростыми вопросами нашей истории. В. О. Ключевский подчеркивал: «Изучая дедов, узнаем внуков, т. е. изучая предков, узнаем самих себя. Без знания истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и для чего мы живем, как и к чему должны стремиться...»

Бакун Д. Н., кандидат исторических наук

От автора

Внукам и правнукам Здравко и Веры

Нас не было и нас не будет, как уже нет моих родителей, как нет череды поколений, предшествующих их рождению. Со стороны мамы – это представители среднего русского дворянства и духовенства. Были среди них и военные, участвовавшие в завоевании Кавказа (и даже в пленении Шамиля). И сколько еще было поколений до тех моих предков, имена которых записаны в родословной книге города Казани...

Моя прабабушка Елена Андреевна, урожденная Драевская, умерла всего за два года до моего рождения; с раннего детства я слышала о ней: «Так это же был ангел». Ее отец, Андрей Самойлович Драевский, родившийся в 1800 году, окончил Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию, был занесен за личные заслуги в «третью часть дворянской родословной книги Казанской губернии»: коллежский советник, кавалер ордена св. Анны...

Со стороны моего отца известно лишь, что десять поколений его предков проживали в Плевне; известно и то, что его двоюродный дед, отстаивая свое достоинство, вырезал семью турок за нанесенное ему оскорбление; известна и бесконечная благодарность и любовь к стране, даровавшей Болгарии освобождение от пятивекового турецкого рабства... Две цепочки поколений из разных стран, России и Болгарии, с разными традициями, воспитанием, образованием, сомкнулись на моих родителях в тридцатом году прошлого столетия. Поток людей, кровь которых течет во мне, в моих детях, внуках, кровь которых будет струиться в моих правнуках... Черода поколений – уже ушедших, уходящих и нарождающихся – проходит перед моим мысленным взором. Новым поколениям, я уверена, будут свойственны черты, унаследованные от своих предков: достоинство, верность идеалам, честность, порядочность, свободолюбие, независимость.

Эта книга – о маленьком отрезке времени, вместившем всего один век. В ней описывается жизнь нескольких поколений – звено цепи между прошлым и будущим, связанное, так или иначе, напрямую или косвенно, со всеми событиями, пришедшимися на сложный и запутанный двадцатый век. Читатели смогут познакомиться с представителями разных поколений, сумевших сохранить свои традиции и убеждения, свою историю и свое достоинство. При написании книги для меня было важно как можно правдивее, без прикрас, рассказать о жизни моих родителей и людей, окружавших их.

Я глубоко благодарна своему мужу Владимиру Яковлевичу Кравченко, сыновьям Сергею и Георгию, моей племяннице Татьяне Курдюмовой и Александру Храмову, без поддержки которых эта книга не могла бы быть издана.

Инга Мицова

Вместо предисловия. Отец

Рассказ

Море дремлет до самого горизонта, чуть-чуть всхлипывая, вздыхая и ворочаясь. Солнце замерло в бледно-голубом небе. Ни души. Из санатория доносится музыка. Отец достает из кармана две таблетки валидола, кладет под язык, встает со скамейки. Он только что побрился, на щеке видны две запекшиеся капли крови.

– Куда? – обращается он к дочери. – На автобус?

– Пешком, тут недалеко.

– Для тебя все недалеко. Все из-за твоей неорганизованности. Приехала бы раньше. Месяц проходит – нет ее. Еще месяц – опять нет. Приехала, когда настали холода!

Повторяет это отец каждый день с тех пор, как дочь приехала к нему, хотя знает, что раньше она приехать не могла.

– Я должен был сейчас работать с Ж...м. Он написал о В...е очень хорошо. А об этой... как ее? Ну... как ее? Самая известная у нас революционерка?

Отец останавливается и со злобой ударяет палкой о песок.

– Лола?

– Вот-вот, Лола. О ней написал еще лучше. Я к нему пришел и говорю: зачем писать об отдельных людях? Напишите о восстании. Принес свой отчет Коминтерну. А он мне: «Я уважаю этого человека!»

– Кого? – спрашивает дочь и зажмуривается, ждет новой вспышки гнева. – В...а?

– Ну да. А он – сволочь! Так я думаю.

– Он был разведчиком?

– Да какой, к черту, разведчик! Ни писать не умел, ни говорить. Почему-то я ему не верю. Он сопровождал корабли, а потом подводные лодки. Они приставали как раз там, за Солнечным берегом, где мыс, – показывает отец палкой в сторону моря.

Дочь смотрит. Море гладкое, кажется, встань – и дойдешь до этого мыса. А несколько дней назад волны застывали в холодном обжигающем воздухе и льдисто поблескивали.

– Там наверху была деревня. В ней явка. Сюда и подплывали корабли. И знаешь, – отец опять останавливается, – часто люди погибали. Когда корабль подходил, спускали лодку, к ней привязывали канат. Плыли в темноте, канат разматывался. Если была засада, то дергали за канат, чтобы предупредить оставшихся на корабле, и лодку вытягивали обратно. А знаешь, что было однажды?

Огромные черные глаза, страшные своими черными бездонными зрачками, смотрят из-за толстых линз.

– Подплыли, спустили лодку, с лодки заметили солдат на берегу. Стали дергать за канат. И знаешь, что он сделал?

– Обрубил?!

– Да! – кричит отец и с силой втыкает палку в песок. – Да! Сволочь! Их поймали с поличным! В лодке было оружие!

– Смотри, какая медуза! Красиво!

– Господи, погоди ты со своими медузами!

– Посмотри, какая синяя! Помнишь, как весь берег был покрыт маленькими медузами, с ладонь? А сейчас они огромные! Смотри – вот и вот...

– Слушай! Вот ты со своей красотой... Знаешь, о чем можно написать рассказ? О том, как я спасся, когда заплыл далеко. Все хотят про тюрьмы, а я вот думаю – описать бы, как я сражался, когда тонул. Что пережил. Знаешь, как я все это помню? Могу написать тебе план.

Да нет, – перебивает себя отец, – это надо знать. Да. Море, красота, как ты говоришь. Солнце. Ширь. Заплыл я, обернулся – берега не видно. И думаю: силы кончатся, упаду на дно, буду там лежать, рыбы начнут ко мне подплывать, а потом увидят, что мертвый, начнут кусать. И вот так кончится моя жизнь... Ничего не успею... А как же мировая революция? Так все отчетливо представил – водоросли, песок, дно. И знаешь?

– Знаю. Корабль.

– Да, корабль. И я поплыл в открытое море.

– А они не заметили?

– Да что ты все время подсказываешь? – Отец дергает рукой, пытаясь освободить локоть. – Хотя бы угадывала правильно. Все не то!

Отец стоит, тяжело дышит, потом идет. Ракушки хрустят под ногами. Дочь не знает, будет ли отец продолжать.

– А как же ты так далеко заплыл? Ты что, не видел, что ли? Увлёкся?

– Вот-вот, увлекся, – усмехается отец. – Это было в 1927 году. Я только что приехал в Советский Союз. В санатории для политэмигрантов устроили заплыв. Все кричат: «Мичман, мичман!» – был там всеобщий любимец, по прозвищу Мичман. «Мичман! Покажи им!» Меня никто не принимал всерьез! Что? Из Плевена, что лежит на раскаленной сковородке? Да есть ли там вообще вода? Ну, я и поплыл.

«Господи! – думает дочь. – Сколько же это продолжалось? И как он выдержал?»

– Гляди, – говорит она, – медузы как лепестки цветов, синие, розовые... Будто только что прошла весна.

– Да! Чего только не сотворила природа! Да, как тогда – такая красота! И впервые я увидел, как быстро мчится «Грузия». Огромный черный корабль. Ходил такой из Севастополя. Почему-то черный, – говорит старик, усмехаясь. – И тут я понял – погибну!

«Папа суеверный, – думает дочь. – И надо же! В открытом море – черный корабль!»

– Музыка гремит. На палубе полно людей... Танцуют... Я им махал рукой, махал. А они – знаешь, что?

– Тоже помахали?

– Да! – кричит отец. – Вот так по-разному можно понять одно и то же.

– Они решили, что ты просто купаешься?

– Не знаю, сколько плыл, – говорит отец, глядя куда-то вдаль, – приказал себе не смотреть на берег. Поплыву, полежу на спине. Когда доплыл, сил не было встать, выполз на берег и так и пролежал часа три, а может – четыре, на берегу, даже не вынув ног из моря.

– Что ж они тебя не искали?

– Нет! – зло кричит отец. – Нет! Они обедали, потом легли отдыхать. Да. Вот это рассказ. Куда ты меня ведешь?

– Хочу показать закат. Пойдем по этой дороге.

– Это дорога? Это дорога?! Это сплошные камни, – ковыряет палкой старик. – Самое опасное для меня. Поскользнусь – и все.

– Я тебя удержу. – Дочь еще крепче сжимает его локоть.

– Если бы ты знала, как я себя ненавижу, калеку такого!

– Что у тебя болит?

– И ноги, и таз. Черт бы его побрал! Нет, я здесь не пойду! Мне надо вернуться засветло в санаторий.

Они сворачивают в сторону шоссе.

– Расскажи, как ты переводил людей через границу, – просит дочь. – Сколько это длилось?

– Два года! – кричит отец.

– Да нет, сколько длился переход через границу? – мягко спрашивает она.

– Получал сообщение от заграничного ЦК, что надо идти. Или приезжал человек, или присылали деньги, вклеенные в учебник. – Он искоса поглядывает на дочь: понимает ли? – Я тогда числился студентом. Ну и в тот же день выезжал. Вот город, – чертит отец на песке палкой. – Ехал на пограничную станцию, но не центральную, где ходил экспресс, а на маленькую. Там была ветка, по которой рабочие ездили в город. Садился и ехал. Выбирал такой поезд, чтобы приезжать к вечеру. В деревне была явка. Когда темнело, начинал подъем. К утру уже был по ту сторону.

– А граница? – спрашивает дочь.

– Да что граница! Граница – это вот, – старик показывает на чертеж, – отсюда досюда.

Граница – это все пограничные села.

– Ну да, я понимаю. – Дочь тянет отца за рукав, тот неохотно трогается с места...

– Там тоже садился на поезд. Потом пересаживался на экспресс. Ехал сутки. Приезжал во второй половине дня. Там уже ждали. Ночевал и сразу обратно.

– Сколько ты переводил?

– Сколько надо, – сердится отец. – Было приказано одного, максимум двух.

– Понятно.

– А я переводил семь – десять, – добавляет отец неожиданно.

– Почему? Считал, так проще? Группой?

– Так. Приезжали на пограничную станцию и шли по шоссе. – Отец смотрит на дочь и останавливается. – Всегда по шоссе. Чтобы думали, что идем в деревню. Часто пели. До тропинки доходили уже в темноте, и тогда начинали подъем. Если приходили раньше, прятались среди деревьев. Поднимались и ждали.

– Граница проходит по гребню?

Старик останавливается, сердясь, что дочка перебила, и все же доволен: вопрос по существу. Кивает.

– По гребню. Все было известно. Даже время смены караула. Мы лежали и ждали, когда первый уйдет спать. Перед тем как второму начать обход, я хлопал товарища по плечу и говорил: «А теперь, другарю, – беги!». И вот уже мы на другой стороне.

«Другарю, – думает дочь. – Это по-болгарски. Так папа и говорил. Он не хочет переводить».

– А следы? Как же вспаханная полоса?

– Какая вспаханная полоса! Это потом изобрели вспаханную полосу, там была трава. Правда, по всей длине.

– Вроде просеки?

– Вот-вот, – радуется отец. – Просека. А сейчас моя задача – дойти до комнаты, до моей теплой комнаты! До тепла, ну его к черту, закат! Все твоя красота! Знали бы ваши нынешние чертовы комсомольцы, как мы не за плату, не за службу, не за славу, даже не за будущее шли: надо – и идешь! Альпы! Высота! Взбегаешь на них за четыре часа. И все в темноте. Знаешь, как я все это помню! Когда нас через пятьдесят лет возили туда, чтобы снять фильм, мы ехали в автобусе, проехали границу, я говорю: «Сейчас будет деревня, в центре – пекарня». Я там всегда покупал хлеб. Меня около пекарни сфотографировали. И когда поехали дальше и я сказал: «А вот сейчас будет тропинка», – уже не было скептических усмешек. Там же полный автобус дедов, и ни черта они не помнят! Знаешь, какая у меня память была? О ней все знали. Никогда я не носил письма, даже самые длинные, – все было вот здесь. – Отец, не останавливаясь, хлопает себя несколько раз по высокому лбу, наполовину прикрытому фетровой шляпой.

– Как ты себя чувствуешь? – неожиданно спрашивает он и останавливается, чтобы взглянуть на дочку.

– Тоска...

Темные, как у отца, глаза из-под черных тонких бровей смотрят снизу вверх.

– Господи, – смеется отец, делая вид, что не понимает. – Тоска! Откуда тоска, если ты здесь поправилась на два килограмма! Грязь тебя не истощила! И сколько написала! Когда я писал еще кандидатскую диссертацию... тему я сам выбирал, не было у меня никакого руководителя, потом это применили в армии, взяли на вооружение... М-да... Но сейчас не об этом... Так вот, был преподаватель у нас, рентгенолог. Культурный человек. Вообще у нас в Медицинской академии все преподаватели были образованнейшие и культурнейшие люди! Мы это не очень понимали. Считали их буржуазией. А я был нацмен. Знаешь, что это?

Дочка кивает.

– А что тогда знали нацмены? Да ничего. Дикие были. Я помню непередаваемое выражение лица профессора по анатомии, когда он, держа пинцетом кожу трупа, спросил у моего приятеля Вити Обьедкова, тот был пастухом раньше: «Что это?» И Витя ответил: «Шкура».

Дочка заливается смехом, отец останавливается и ждет, когда она кончит смеяться.

– Так вот, – продолжает он, как только дочка вновь берет его под руку, – рентгенолог написал книгу, пособие, как писать диссертацию. И его совет я запомнил на всю жизнь. Все, что приходит в голову и кажется стоящим, – сразу записывай. Человеческая лень – это страшное дело. Ночью не сплю, а мысли ясные, все так логично выстраивается, и кажется: разве можно забыть? Забываю! И я стал кидать. Кину книгу или там листок какой, думаю: увижу – вспомню. Черта с два! – кричит отец. – Черта с два! И вот теперь, как только что придет в голову, говорю: «Ну, товарищ, вставай! Давай-ка!» И пишу. А утром разбираю. Как бы ни было коряво, если ты это придумал, то ты это и обрабатываешь. И ты пиши. Пиши. Это такой капитал. Это твоя берегательная книжка.

«Родной мой! – думает дочка, – ты у меня “молоток”!»

– А как вы поженились с мамой? Ты обещал рассказать.

Отец смеется по-молодому, искренне.

– Давай зайдем в магазин, – говорит он.

– Не надо. Лучше гулять, терпеть не могу ходить по магазинам.

Отец останавливается и внимательно осматривает витрину.

– Чудачка ты, – говорит он. – У некоторых это единственное развлечение.

Отец, кряхтя, поднимается по ступенькам, дочь, поддерживая его, спешит следом. С силой толкает стеклянную дверь. В магазине никого, кроме продавщицы. Отец выбирает скатерть и дюжину носовых платков. Почему-то он всегда интересуется, есть ли у дочери платки. Скатерть белоснежная, с большими яркими цветами.

– Вот, – радуется он. – Гладить не надо. Почти как клеенка. Пятна не остаются. Постелешь в своей кухоньке.

– Чтобы веселее жить.

– Веселее? – переспрашивает отец.

Пора возвращаться. Их путь лежит к автобусной остановке по главной улочке маленького города. Ноябрь. Не сезон. Улица пустынная и очень чистая.

Женщина чувствует чей-то взгляд, украдкой глядит в сторону и замечает капитана первого ранга из их санатория. Он один здесь ходит в форме. Капитан добродушно улыбается. Первые дни она охотно улыбалась, здороваясь с ним. Но отец никого не подпускает к ней и не скрывает этого. И сейчас женщина ощущает неловкость и отводит глаза.

– Вот сегодня нет ветра, – говорит отец, – и мне в этом пальто тепло.

Пальто старое, драповое, коричневое, под цвет шляпы. Очень тяжелое. Когда дочка подает его отцу, руки подгибаются. Надо бы купить что-нибудь современное – легкое и теплое. Но некому заняться.

– Пойдем к остановке, что возле парка, – говорит дочка.

Отец молчит.

– Ну, хорошо, – наконец говорит он, – пойдем. А успеем?

– Не успеем, так останется всего две остановки до санатория.

– Да, так как я женился на твоей маме? – спрашивает отец, и опять его лицо молодеет. – Как? Все знают, кроме тебя, – ворчит он. – Я был на втором курсе и часто ходил к своему приятелю. Он был тогда уже женат, и у него была большая квартира на Зверинской. Зверинская, дом 36 и квартира 36, – усмехается отец. – Забыл, как сейчас называется Зверинская.

Дочка молчит, хотя и знает. Не хочет перебивать.

– Теща приятеля, эстонка, прекрасно готовила. И вот мы собирались у него по праздникам... на первое мая... на седьмое ноября... В складчину, конечно. Я тоже хорошо готовил наши болгарские блюда. – Отец довольно улыбается и поглядывает сверху вниз на дочку. – Так вот, Дубовы стали говорить: перебирайся ближе к нам. Что ты из такой дали ходишь?

– А где ты жил?

– На Большой Гребцовой.

– Где это?

– Как только перейдешь Тучков мост, за ним Большой проспект, церковь, улица Добролюбова, аптека... Да, так вот, Дубовы сказали, что в их доме есть комната. Они думали: я не женат, хотели помочь. Так вот: Ключев, военный врач, только что умер. У него жена, Мария Алексеевна, интеллигентнейшая женщина, умнейшая, как говорили раньше – «из бывших», дочь... как ее звали? Леля, Елена. Так вот, Дубовы думали меня женить на Леле. Я посмотрел, комната хорошая, большая, светлая, теплая. Они еще удобную кровать с пружинным матрасом дали. Я до этого жил у эстонцев. Они, эстонцы, – чистюли. Очень за мной ухаживали. Комнату я нашел по объявлению. Тогда печатали объявления, как на Западе.

«Теперь тоже», – думает дочка.

– Когда я им сказал, что ухажу, они тоже решили, что я женюсь. А я и думать не думал. У меня было четкое представление: я революционер, меня ждут тюрьмы, аресты... И подводить другого человека? – Отец смущенно хмыкает.

«Да, – думает дочка, – арест тебе еще предстоит, в тридцать восьмом. Но ты и предположить не мог, что будешь обвинен как немецкий шпион в стране, которую боготворил, в которой жил политэмигрантом».

– Так вот. Приехал я к Ключевым и сразу попал на вечеринку. А надо тебе сказать, мне было тогда ужасно трудно. Русского языка я как следует не знал. Это потом меня твоя мама выучила, так что я говорю без акцента. Обстановка для меня совершенно новая. Ну, пошел я на вечеринку. Сидят все за столом. Вот Леля, вот Лелин брат, вот невеста брата, Лелина подруга. Я говорю, что у меня есть консервы – шпроты. Тогда голод был, это тридцатый год. А нам давали паек. Хороший паек, – говорит старик, причмокивая. – Так вот, как только я сказал про шпроты, так эта невеста, такая растрепанная, волосы во все стороны, как закричит: «Ах, как я их люблю!» Я тогда не обратил внимания, только запомнил: растрепанная. На другой день иду на лекции, только вышел из квартиры, смотрю – бежит вверх через две ступеньки. Никогда не видел, чтобы так женщины поднимались. Пальто развевается, шляпа диковинная, с полями, «летучий голландец», – в руке, она ею размахивает... Волосы в разные стороны... Все говорили – красавица. А я и не заметил. Через месяц мы поженились. Да... Так вот бывает в жизни. Кровать у нас отобрали и всю остальную мебель тоже. Вскоре, как мы поженились – то есть она просто перешла жить ко мне, и все, – пришел приятель. Он знал, что я убежденный холостяк. Открывает дверь и ничего понять не может. Лежим мы с Верой на полу... Матрас на полу, – поясняет отец, – и мы хохочем. А вокруг, кроме книг, ничего нет. Писал я на подоконнике, наверное, был стул, а может – ящик принес из-под пайка, не помню.

Отец останавливается, смотрит твердо на дочку огромными темными глазами:

– И знаешь, хорошую жизнь мы прожили с твоей мамой. В тот год, когда она умерла, мы должны были справлять золотую свадьбу.

Отец медленно задирает рукав и смотрит на часы. Уже смеркается. Подходит автобус.

– Оставь меня! – отмахивается отец. Обхватив рукой поручень, он выбрасывает палку вперед и поднимается на ступеньку. Шофер улыбается в зеркало молодой женщине. Ждет, когда усядутся пассажиры.

Через полчаса отец в синем спортивном костюме входит в зал, где обедают живущие в люксе. Не здороваясь и не глядя ни на кого, старик идет, склонив лобастую седую голову, внимательно глядя под ноги. В санатории он ходит без палки. Следом за ним, касаясь его плеча головой, так же, как и отец, заложив руки за спину, идет тоненькая дочка в синем вельветовом платье. Она напряженно следит за каждым движением отца. В зале тепло и очень светло. Море в темноте за окном. Дочка отодвигает стул, и отец садится. Внимательно оглядывает стол, ворчит:

– Опять на десерт виноград.

Смотрит в тарелку дочери.

– Принесите мне то же, что и ей.

Дочка думает, что отцу из-за диабета нельзя пирожное, но молчит.

– А когда умерла твоя мама? – спрашивает она.

– Что?

Поддев языком, старик выталкивает изо рта вставную челюсть и внимательно рассматривает ее.

– Как ты себя ведешь? – шепчет дочь.

– Двадцать раз снимали слепок! Ничего не умеют. – Старик ловко впихивает челюсть на место.

– Слушай, – подступает опять дочка, – ты видел свою мать после того, как перешел на нелегальное положение?

– Да, – еле слышно отвечает отец.

– Сколько раз?

– Один.

– А когда она умерла?

– Я приехал.

– Что?! – вскакивает дочка. – Ты же был нелегалом!

– Ну и что? Жандарм был на кладбище. Охранял меня.

– Ну а ты? Когда она умерла? От чего?

– В феврале, – отвечает отец неохотно.

– От чего?

– Сердце. Пятидесяти лет от роду.

– С кем она жила?

– С сестрой. Сестра за ней ухаживала. Сестра совсем не похожа была на мать. Злая была. Потрясающе злая была. Любила только свой род. А мать очень добрая. Ах, какая добрая была! Как всем старалась помочь! Знаешь, маленькая была, а... – отец ищет слово, – ...на болгарском языке есть такое слово, «пыргава»... да, пожалуй, по-русски – проворная, талантливая была, а как гадала! И так хороша!

Голос отца теплеет.

– Ешь, – обращается он к дочери.

– Ну а как же ты потом убежал? Это когда ты спрятался на якоре?

– Что? – Отец неодобрительно смотрит на дочку. – Ах, да, тогда. Да.

Тихо играет радио.

– Ты знаешь эту песню? – неожиданно спрашивает отец.

– Нет, в первый раз слышу.

– А слова понимаешь?

– Нет.

– Очень хорошая песня. На слова Яворова, нашего известного поэта: «А для любящих сердец смерть не есть разлука», – переводит отец. – Вот эти слова напишите на нашей с мамой могиле.

Дочь вздрагивает и внимательно глядит на отца. Они уже одни в столовой. Официантка Дафина убирает со стола, время от времени улыбается молодой женщине.

– Расскажи что-нибудь про маму...

– Что ты пристала? – сердится отец. – Что ты все выпрашиваешь? Ты что, за тем сюда и приехала?

Ночью женщина просыпается от тоски. Приподнимается и видит тонкую полоску света из-под двери. Старого человека спасти нельзя. Женщине тяжело. Физически тяжело. И не потому, что старик стонет, ругается, еле-еле ходит. Дочка идет с отцом по дороге и ясно видит конец – как конец того мыса. В окно глядит луна. Она уже убывает. Женщина встает, одевается, снимает плед с кровати и тихо открывает дверь на балкон.

Море под луной горбатится, поблескивая, как слюда. На мысе мигают огоньки. Женщину знобит, она набрасывает на плечи плед, перегибается через перила и заглядывает в комнату отца. Тот сидит за столом, лицом к окну, и что-то быстро пишет.

Часть 1. Профессиональный революционер

На каждом человеке лежит отблеск истории. Одних он опаляет жарким и грозным светом, на других едва заметен, чуть теплится, но он существует на всех.

Ю. Трифонов

Первое антифашистское восстание (июнь 1923 г.). – Детство папы. – Первый арест. – Сентябрьское восстание. – Угроза убийства. – Эмиграция в Австрию. – Покушение на царя Бориса в Софии. – Белый террор. – Нелегальный канал. – Арест и побег. – Восстание в Вене. – Шмидт и Товстуха. – Эмиграция в СССР.

Недавно мне попала небольшая брошюра – как она оказалась у меня, откуда взялась? На обложке стояло папино имя. Я открыла. Брошюра написана по материалам архивов ЦК БКП и Коминтерна. Издана впервые в Софии в 1974 году Партиздатом. Папа написал это в Советском Союзе в 1933 году, в десятую годовщину июньского антифашистского восстания в Плевне.

В молодости, слыша про июньское восстание 1923 года, я пожимала плечами – что за восстание? Антифашистское? Фашисты-то откуда в Болгарии? Да еще в двадцатые годы! Недавно, раскрыв Большую советскую энциклопедию, с удивлением узнала, что самое первое антифашистское восстание произошло именно в Болгарии: «В июне 1923 г. был совершен фашистский переворот. Правительство Болгарского Земледельческого Народного Союза свергнуто. Премьер-министр Стамболийский и его соратники убиты. Погибли также тысячи членов БЗНС. Стихийное антифашистское восстание народных масс 9–14 июня подавлено. К власти пришло правительство фашистской диктатуры во главе с Цанковым».

Читая папин доклад, я мысленно переносусь в то трагичное время.

...Утром 9 июня в Плевне разносится весть, что фашисты свергли правительство БЗНС. А уже в 12 часов мой папа – секретарь комсомольской организации – собирает в лесочке на окраине города двадцать комсомольцев. Каждый должен пробраться в свое село, собрать коммунистов и земледельцев (членов БЗНС. – *Ред.*), объяснить, что произошел переворот, и повести их в город. Лозунг: «За рабоче-крестьянское правительство!» Халачев – секретарь городской партийной организации – заявляет: «Мы не можем ждать, скрестив руки, мы имеем право даже по буржуазным законам взять власть в городе. Мы – решающая сила. Если же уступить блоку фашистов – они нас сразу объявят вне закона». Кажется, все коммунисты согласны поддержать восстание, против – Табачкин, окружной секретарь партийной организации, он убеждает: «Отняли власть не у нас, а у земледельцев, пусть они и крошат друг другу головы». Но накал страстей столь силен, что жена Табачкина выгоняет мужа из дома: «Иди и не возвращайся, пока не переменишь мнение! Стыд и позор! Когда все за восстание, ты один против!» Лидер радикальной партии убеждает Табачкина: «Только вы, коммунисты, можете внести ясность в положение, вы самые сильные в городе, нет другой такой силы. Людей у вас много, и городская управа у вас в руках. Вы имеете право водворить порядок». Табачкин в меньшинстве, и в ночь с 10 на 11 июня происходит непосредственная подготовка восстания.

В понедельник 11 июня, утром, в 10 часов, ударили в колокол церкви Святого Николая. Это был сигнал к восстанию. Разношерстная толпа высыпала на улицы. В руках – винтовки, пистолеты, карабины, ножи... Кто в мундирах (солдатских или офицерских), кто в штатском, хоть и нацепил военную фуражку, но у всех на рукаве повязка – красный бант. Коммунисты и комсомолы уже на позициях. Выстрелы раздаются по всему городу, разносятся по окрестностям. Энтузиазма – море. Комсомолки-курьеры снуют туда-сюда, переносят в юбках патроны,

отобранные у солдат. Десять тысяч крестьян с криками «ура!» двинулись на Плевну. Проходя через виноградники, выкорчевывают колья и бегут навстречу войскам. Окружена почта и второй полицейский участок, захвачено несколько телег с винтовками, патронами, гранатами. Восставшие яростно обстреливают казармы 4-го и 17-го пехотных полков, где сосредоточены главные силы противника. К середине дня фашисты Плевны должны быть окружены и блокированы. В 12 часов комендант передает город в руки коммунистов.

И в тот момент, когда фашисты были готовы сдаться, когда крестьяне, вооруженные лишь кольями, героически бросались на ружья, когда город почти уже был в руках восставших, – пришла телеграмма из Софии с требованием ЦК БКП – воздержаться от участия в выступлении и хранить нейтралитет. Как это? Неужели воодушевление народа надо погасить, хотя причиной стало законное возмущение фашистским переворотом, возмущение, вызванное убийством лидера Земледельческого правительства и его помощников? Соблюдать нейтралитет? Да во имя чего? В голове не укладывалось. Но приказ есть приказ. Телеграмма попадает в руки папы – и он решает ее придержать. Следует повторная телеграмма. Асен Халачев, руководитель восстания, считает ее фальшивкой. Не хочет верить. Но раздается телефонный звонок из ЦК БКП. Голос Тодора Луканова – уважаемого в Плевне руководителя партийной организации города с начала ее основания. Он повторяет приказ и велит распустить восставших. И вот власти дают фаэтоны Халачеву и Табачкину, и те мчатся по улицам, где только что стреляли. Табачкин стоит во весь рост в пролетке, размахивает телеграммой и кричит: «Расходитесь!» Халачев в отчаянии тоже выполняет приказ руководства и слышит в ответ на предложение разойтись: «Ты призвал нас восстать – и мы восстали, но ты не можешь нас заставить прекратить восстание». И все же постепенно волнение, охватившее массы, спадает.

Цель местных коммунистов – поднять против фашистов весь плевенский округ – была сорвана. После упорного сопротивления распоряжению ЦК, в 15 часов 11 июня 1923 года антифашистское восстание в Плевне было прекращено. Все подчинились приказу партийного руководства.

Асена Халачева убили, как собаку. Фашисты его схватили, подвергли истязаниям, по голым ступням били палкой, поливали водой и снова били... несколько часов. И после на телеге вывезли за город и утопили в реке Вит. Тело спустя какое-то время выбросило на берег, и по кольцу на пальце один из крестьян опознал Асена Халачева и похоронил. С его дочерью Любой я была знакома, она так и не вернулась в Болгарию и жила в Москве.

Моему папе во время восстания было двадцать лет. Ему удалось скрыться; по решению ЦК его должны были на подводной лодке переправить в Советский Союз³.

Сколько было прочитано книг, где описывались подобные ситуации, как я переживала и сочувствовала ребятам, боровшимся за будущую счастливую жизнь! Но никогда мне в голову не приходило, что все это было так близко от меня: папа, мой родной папа, который был рядом, девяносто лет тому назад жил именно такой жизнью.

Тайны прошлых лет, минувшей эпохи... Мало кого теперь они интересуют... но той борьбе, такой жизни была отдана половина прошедшего века, целое поколение верило в свою правду, боролось за нее.

³ В 1949 году, когда мы уже жили в Болгарии, на уроке истории одна ученица подняла руку: – Почему Тодор Луканов считается героем и так почитаем в Болгарии? – задала она вопрос. – Это несправедливо. Ведь это он провалил первое восстание в Плевне? Учительница смутилась, бросила взгляд на заднюю парту, где сидел внук Тодора Луканова, Алька, и сказала не очень уверенно: – Это было стихийное восстание. Коммунисты планировали поднять народ в сентябре. Это восстание было преждевременно. Меня поразили знания этой ученицы, она знала не только про восстание сентябрьское, о котором мы учили, но и про июньское, в учебнике не описанное, мне неизвестное. И еще я подивилась тому, что сразу поверила этой ученице, хотя слышала о Тодоре Луканове с раннего детства. С его женой, бабушкой Коцей, его внучками Ирмой и Инессой, моей первой подружкой, мы отдыхали в Разливе под Ленинградом летом 1940 года. Стихийное, незапланированное! Вот в чем дело!

Из записок папы:

«Отца не помню. Мне было три года, когда он умер. Знаю, что работал в мэрии, принимал прошения. Мама была сильной женщиной. После смерти отца работала у чужих, очень хорошо готовила. Чтобы мы уважали себя, постоянно твердила, что отец не умер, а находится в каждом углу дома и наблюдает, слушаемся ли мы маму, как учимся...»

Деда моего по отцовской линии, Василия, я видела на сохранившейся фотокарточке. Сначала мне не нравились самодовольный вид и залихватски закрученные усы. Сейчас я его воспринимаю по-другому: в белом костюме, в белой рубашке, с палкой в руках – он держится спокойно, с достоинством. Перед ним стоит старший брат папы – тоже Василий, эти двое отличаются от остальной семьи. Младший Василий, белолицый, как и отец, светловолосый, с печальным, вопрошающим взглядом. Но и по сей день мое внимание привлекает бабушка, Цана Вылова, десять поколений предков которой рождались и умирали в Плевне. Она стоит рядом с мужем, в черном глухом платье с высоким воротником. Сколько требуется времени, чтобы разглядеть лицо? Первое впечатление мне кажется самым верным; на первый взгляд это лицо сильное и гордое. А вот на второй – я останавливаюсь, пораженная. И вижу удивительное сходство со мной. Ее кровь повторяется в круглых карих глазах, в тонких губах, в тонких черных бровях. Одно лицо. И только цвет волос разный, но те же две косички, угадываемые на спине. На руках у прабабушки, имени которой я не знаю (по слухам – Параскева), сидит мой папа, ему нет и года. Красивое тонкое лицо Параскевы мягко и одухотворенно. Задумчиво она смотрит вдаль. Про прабабушку известно лишь одно – она собственноручно выткала ковер, по которому прошел Александр II, возвращая плененному Осман-паше саблю. Из всех ковров был выбран именно ее. Это говорит не только о вкусе, но и том общественном положении, которое занимало семейство Выловых в 1877–1878 годах в Плевне. Благодаря ее рассказам об освобождении Плевны, о том, как сначала въехали казаки, как ставили кресты на воротах православных, как затем в течение трех месяцев шли кровавые сражения, как погибло несметное число русских за освобождение 15 тысяч болгар – жителей Плевны, – и возникла с раннего детства папина любовь к России.

Дед Василий пришел, именно пришел, а не приехал, в Болгарию из Македонии. Плащ служил ему ночью постелью. Так, вероятно, ходили все люди со дня сотворения мира. Так ходили апостолы – плащ, без сумы и с палкой в руке. Иисус заповедовал не брать и сумы.

Оказавшись в Болгарии, Василий Мицов сделал карьеру – от природы интеллигентный, любознательный, он работал в мэрии Плевны. Купил довольно большой дом с садом в центре города, завел большую библиотеку и заработал, как говорил папа, уважение людей. Умер дед Василий, когда ему было 45 лет. Бабушка осталась вдовой в 35 лет, с пятью ребятами на руках.

Дом Мицовых стоял на горбатой улице, внизу возвышался красно-белый купол мавзолея – гордость жителей Плевны. Там, в «костенице», за стеклом, лежат друг на друге тысячи черепов павших русских воинов. Тысячи пустых глазниц смотрят упорно, стараясь понять, не напрасно ли была пролита кровь в чужой стране за ее освобождение от страшного пятисотлетнего турецкого ига.

Мужчины с темными мрачными глазами, в красных фесках, в коричневых штанах наподобие галифе, только с задом, свисавшим, как курдюк, с широкими, под грудь, красными шерстяными поясами, заполняли *дюкяны* — тогдашние кафе, курили длинные трубки, медленно тянули горячий черный кофе из маленьких чашек, запивая глотком холодной воды из стакана. Развлекались они по-разному. Привязывали к хвосту собаки политую керосином жестянку и пускали по улице. Жестянка сзади грохотала, собака, прижав уши, с вытаращенными глазами бежала вперед. Из всех дюкянов высыпали толпы завсегдатаев и, хлопая в ладоши, улюлюкая, не давали ей свернуть с дороги. А когда жестянка отрывалась и собака, не помня себя от страха, продолжала бежать, высунув язык, с пеной у рта, ей вслед неслся крик:

– Бешеная! Бейте! – И те же самые зрители забивали собаку камнями.

Улицы были узкие, кривые, с подернутыми зеленью зловонными лужами. Лишь небольшая часть улиц была вымощена, другие тонули – летом в пыли, зимой в грязи.

Во время рамазана турки, которые составляли половину жителей Плевны, на ранней заре били в барабаны. Все просыпались. Вечером, когда зажигался фонарь на мечети около кафе «Чифте», по городу несся тонкий голос муллы, который выпевал праздничную молитву. Затем раздавался крик:

– *Вард-а-а-а! Турското топче и ще гръмне!*

И пушка, взятая на время в Городском управлении, стреляла, оповещая, что теперь можно приступить к еде.

Я слышу в себе глухой ропот моих прародителей со стороны Цаны, струится черная кровь «дели» (бешеного) Николы, родного брата моего прадеда, отца Цаны. Его жизнь приходится на начало и середину XIX века, тогда одно за другим вспыхивали восстания против турецкого порабощения. По преданию, у дели Николы был большой нож с двумя остриями. Однажды турок обматерил его, и дели Никола, пробравшись летней ночью на его двор, вырезал девять членов семьи обидчика. Сумели подкупить турецкого судью, и тот вынес приговор – всего 9 лет тюрьмы в Диарбекире, городе в юго-восточной части турецких владений в Малой Азии, цитадель которого служила местом заключения политических преступников, в том числе деятелей болгарского национально-освободительного движения.

В начале XX века в Плевне был театр и кинематограф (а может, и два), три духовых оркестра (и даже один струнный), много хоров. На улицах плясали по праздникам хоро (национальный болгарский танец) под звуки гайды. Был и городской сад. Из храмов – три православных церкви, мечеть и синагога. Летним утром стада коз и овец покидали окраины города, и мелодичный перезвон колокольчиков успокаивал, плывя по узким, тонущим в пыли улочкам.

После смерти Василия Мицова судьба семьи полностью зависела от Цаны. Вот тогда и проявился ее стойкий характер. Бабушка Цана, маленькая, проворная, красивая, очень гордая, и пряла, и ткала; говорили, что занималась и гаданием. И довольно успешно. Эта мистическая способность осталась и у папы, и частично у меня. По слухам, Цана также подпольно делала аборт. Может быть, и так: судя по фотографии, ее рука не дрожала и глаз был верен. Но денег хватало не всегда.

Часто Цана тихо говорила детям: «Накрывайте стол в саду, стучите ложками, стучите тарелками – пусть соседи думают, что у нас есть обед и тарелки полны». Что они голодали, знала только сестра Цаны, которая, скрывая под платком краюху хлеба (тайком от мужа!), иногда приносила им поесть. Память о постоянном голоде таится в глазах моего отца многие годы. В глазах, то злых и угрюмых, то довольных и веселых, всегда лежал этот неуверенный отблеск голодного детства.

По вечерам Цана, повязав голову черным платком, в черном вдовьем платье, пересекала двор по вымощенной дорожке, выходила за ворота на маленькую площадку, садилась на скамейку. За Цаной ковылял малыш – папа, с курчавой шапкой волос, с круглыми глазами, тонким ртом и опущенными вниз уголкам губ – точная копия самой Цаны. Папа ждал фонарщика, который с маленькой лестничкой в руке перебежал от фонаря к фонарю, быстро вскарабкивался наверх и поджигал газ. А молодежь, как в старину, собиралась у *чеимы* — источника – неподалеку от дома Мицовых. Оттуда несся смех, пение.

– Цана, – подходила соседка, – посмотри на кофе: муж уехал в Софию, собирался вернуться в пятницу, а сегодня уже воскресенье...

– Фотография есть?

– Есть.

Цана вставала, медленно шла в дом. Там, на кухне, она медленно, молча варила на слабом огне принесенное соседкой в кулечке кофе, не спеша ставила кофейные чашки на низенький

столик, стоявший в углу, разливала из медного *джазве* по маленьким чашкам кофе, пузырящийся обильной пеной. Обе женщины, сидя на маленьких низеньких скамеечках, медленно пили кофе.

– Опрокинь чашку на блюдечко, – говорила Цана, – осторожно, правой рукой. – Нет, нет, на себя.

Уходя, женщина оставляла кусок хлеба.

В 12 часов дня раздавался крик:

– Поезд из Софии пришел!

С вокзала неслись велосипедисты с кипами газет, и папа (ему было лет шесть) в коротеньких штанишках подхватывал на ходу кипу, мчался на главную улицу и, картавя, кричал:

– Утренние газеты!

Старший брат Василий, тот, который на карточке смотрит в объектив печальным задумчивым взглядом, с четырнадцати лет стал работать в типографии. Он первый принес в дом газеты «*Работнически вестник*», «*Новое время*». Цана негодовала. Василий был связан с партией «тесных социалистов» (в будущем – партией болгарских большевиков). Василий-*Чучулига* (жаворонок), несмотря на свой возраст, был выбран секретарем союза печатников, посещал клуб рабочих «Пробуждение» и брал шестилетнего папу с собой. На праздниках папу ставили на деревянную скамейку, и он, картавя, декламировал:

*Режи, режи, ти бичкийю,
Бягай, черна сиромашийо!*

(Пили, пили, пила, // Убегай черная нужда! – И.М.).

Семнадцатилетнего Василия подстерегли за городом в ночь на Димитров день и убили.

«*Муку по старшему брату, моему первому учителю по социализму, ношу в сердце по сей день*», – писал восьмидесятилетний мой отец.

Проходят три военных тяжелых года. Европа дымится, везде вспыхивают восстания. В Германии свергают кайзера Вильгельма, в Берлине, в Баварии и других местах выбраны советы рабочих и солдатских депутатов. Австро-Венгерская империя распадается на Австрию, Чехословакию, Венгрию, Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (будущую Югославию). Вот-вот мировой пожар революции зальет всю Европу... И вдруг новость! В Болгарии, в городе Радомире, солдаты тоже восстали, провозгласили республику, объявили о низвержении царя Фердинанда и сейчас направляются в Софию.

Иван Дамянов, Моис Нисимов, Андро Луканов и папа, четверо плевенских ребят из одной *махалы*, рано утром, с железными прутьями в руках, садятся в поезд. Они едут в Софию, чтобы присоединиться к «Владайскому» («Войнишкому») восстанию. О! С какой радостью они встали бы рядом с солдатами, круша противника! Но, проболтавшись день-два по Ючбунару (кварталу Софии), узнали, что артиллерия разогнала войска. Сказали им об этом офицеры из Плевны, которых они встретили на софийских улицах.

– Ступайте домой, ребятки, – сказали они, – тут плохо пахнет.

В сентябре 1918 года, усталые, голодные, ребята возвращаются домой. Только четверо из всего города? Кажется, да. Других они не упоминали.

А 3 октября Фердинанд отрекается от престола и передает власть сыну Борису.

«*Не прошло много времени, как меня позвал Васька – Василий Каравасилев. Каравасилев был молодой, обаятельный, с матовой кожей, густой кудрявой шевелюрой, высоким лбом, широким массивным волевым подбородком. Он был убежденный коммунист, вернувшийся с фронта с сорванными, в знак протеста, погонами. Когда-то они были приятели с моим старшим братом, Василием.*

– Здравко, – обратился он ко мне. – Ты можешь привести несколько верных ребят сюда в клуб? Надо поговорить.

– Могу, бай Василе».

15 декабря 1918 года те самые смельчаки, которые рвались участвовать в восстании, собрались в комнатке партийного клуба. Вечереет. Пять человек примостились у горячей «буржуйки». Среди них двадцатипятилетний Василий. Говорит с каждым в отдельности. Спрашивает, хотят ли работать организованно для свержения буржуазии. Рассказывает им про империалистическую войну, о революции в России, о традициях молодых социалистов в Плевне.

И вот здесь у меня впервые сжимается сердце. У маленькой печурки четверо замерзших ребят готовы пожертвовать жизнью за счастье неизвестных им людей.

– Сейчас, – голос Каравасилева сильный, торжественный, – мы основываем молодежное дружество при партии тесных социалистов. Предлагаю выбрать секретаря.

– Ты, конечно, бай Василий, – отвечают ребята с воодушевлением.

Папу выбирают секретарем контрольной комиссии.

А было ли у моего папы детство, в его обычном понимании, – товарищи, игры, развлечения? Конечно, кое-что ему перепало. Были походы на реку Тученицу, грязную речушку, вошедшую в историю после осады Плевны русскими войсками в 1879 году, и на реку Вит, в семи километрах от города, были прыжки с моста, бесконечные купания. Ловил змей, прижимая голову змеи раздвоенной на конце палкой, быстро обхватывал пальцами сзади за голову, смотрел, как змея, извиваясь, обвивает руку... А потом? Вероятно – забивал змею той же палкой.

Был друг, оставшийся близким и единственным на всю жизнь – Андро Луканов, сын Тодора Луканова, живший неподалеку, остроумный, веселый босоногий мальчишка, деливший с ним ломоть теплого хлеба, посыпанного солью и красным перцем...

Но вот уже впервые приходят в дом и делают обыск, арестовывают...

«В связи с борьбой за победу коммунистов на выборах в Плевенскую городскую общину в 1919 году я, 16-летний ученик 6-го класса (сейчас это 10-й), был арестован вместе с 16 взрослыми коммунистами и посажен в окружную тюрьму – за насильственный разгон собрания “широких” социалистов (разгон сопровождался избиениями и ножевыми ранениями)».

Двое жандармов входят во двор, проходят по узкой мощеной дорожке, поднимаются по ступенькам и без стука открывают дверь.

– Эй! – кричит один из них. – Дома кто есть?

Из комнаты молча выходит Цана. Маленькая, в черном платье, черные волосы покрыты платком. Ей 47 лет.

– Здравствуй, госпожа Цана, – говорит жандарм. – А твой сын?

Цана не успевает ответить, за спиной вырастает папа.

– Тут я.

– Ну-ка, пропусти, – говорит жандарм, отталкивая папу и проходя в комнату.

И когда двое жандармов проходят в комнату, папа молча протягивает руку, преграждая дорогу матери. Но Цана нагибается и под рукой сына входит следом, пересекает комнату и становится у окна, занавешенного плотной белой шторой, защищающей от жарких солнечных лучей.

В комнате стол, несколько плетеных стульев, полки с книгами, на полу разноцветная *черга* (домотканый ковер, изделие самой Цаны). Жандармы оглядывают комнату, один остается у двери, другой подходит к полкам.

– Мама, – обращается отец к Цане, – принеси-ка мне поесть.

– Смотри – ест, – говорит жандарм, стоящий у двери. – Ест, – повторяет он, – значит, невиновен.

Его напарник только мельком глядит на папу, он кидает одну за другой книги в мешок. Туда уже последовали «Разбойники» Шиллера и «Война и мир» Толстого – как нелегальная коммунистическая литература.

– А! Ты и такие книги читаешь! – вдруг обращается он к папе, держа «Капитал» Маркса. – Молодец. Разбогатеешь, прекратишь безобразничать. Ну а сейчас обувайся, пошли.

Цана медленно идет следом по каменной, выложенной когда-то мужем дорожке. Провождает, как дорогих гостей, до калитки, а потом смотрит вслед.

– Господи, помоги ему, – крестится Цана.

Это был первый арест. После второго папу исключили из гимназии с «волчьим билетом».

Думаю, что именно в то время папа набрасывается на чтение. В первую очередь за марксистскую литературу. Особенно он ценил труд Дмитрия Благоева «К марксизму».

Что еще читал? Не знаю. Умел говорить, умел думать, делать выводы и обобщать. Знаю, что вел кружок по марксизму среди плевенских комсомольцев, знаю, что позже, когда он бежал из Болгарии в Австрию и оказался в Граце, ему, самому молодому, сразу поручили доклады не только для ознакомления соратников с учением Маркса – Ленина, но и о перспективах развития революционного движения.

А в июне 1923 года, после восстания, как я уже писала, часть активных комсомольцев, в том числе и папу, было решено на подводной лодке по маршруту Варна – Севастополь отправить в Советский Союз. Но в Варне папу ждало потрясение. На улице он встречает Василия Каравасилева, о котором точно знает, что тот находится в Москве. Но... организатор комсомольского движения в Плевне шел ему навстречу. Потрясение было столь сильным, что, забыв про конспирацию, папа застыл на месте.

«Василий, красавец, высокий, плечистый, стоял передо мной. Сказал, что учится в Военной академии им. Фрунзе, знает про июньское восстание в Плевне, что приплыл по каналу Севастополь – Варна для использования опыта военных знаний. Из всего рассказанного в сознании остался единственный факт – в сентябре в Болгарии готовится антифашистское восстание, и уже ничто не было в состоянии оторвать меня от болгарского берега. Вопреки огромной радости, вопреки сокровенному желанию, вопреки тому, что был на краю осуществления своего горячего желания, осуществления своей мечты с детских лет – попасть в Россию и там учиться, мои товарищи уплыли, а я остался. Вернулся в Плевну нелегально. Пришел как-то ночью к маме. Обошел дом. Я знал, где мать спит. Постучал в окно. А она, будто только и ждала, сразу выскочила».

Я вижу кудрявого, черноволосого, высокого, худого, так похожего лицом на мать папу. Ему только исполнилось двадцать лет. Мать, верившую, что еще увидит сына, выскочившую в ночной рубашке... Они очень любили друг друга.

«Оружие июньского восстания было спрятано, надо было его подготовить. Дух был высоким, были готовы на бой, но в сентябре пароль в Плевну на восстание не был дан. Организованное сентябрьское восстание, которое охватило многие округа, города и села, было неудачное. Я нелегально по-прежнему работал в Плевенском округе. Время от времени заходил по ночам к матери. Меня все время разыскивали, я прятался. Но они чувствовали – я здесь, поблизости. И вот умирает участник нашего хора. Тенор. Хороший тенор был. Как пел! Умер от туберкулеза. Я написал некролог. Его расклеили по городу. И только сейчас люди узнали, что это был прекрасный человек и коммунист. Этот некролог, вероятно, и выдал меня. Через какое-то время я прихожу к матери, и она выносит мне письмо, посланное по почте. Все как полагается. Но подписано кровью. “Кровью мы подписываемся, что тебе не жить”. Ну, я и поехал в Софию. Было известно, что тех, кому присылали подобные письма, впоследствии убивали».

О том, что папа был приговорен к смерти, что получил письмо, подписанное кровью, я знала давно. Но никогда мне не приходило в голову подумать о моей бабушке. Что она-то

пережила? И представляю я жаркий, не по-осеннему, день, бабушку Цану в опустевшем доме, в черном платье, голова повязана черным платком. Она сидит у окна, полотняная занавеска поднята, и ждет, ждет с утра до ночи. Она настороже. И в окно видит, как по ее двору идут двое жандармов. Она даже не встает со стула.

– Госпожа Цана, где твой сын? – кричит один жандарм, останавливаясь на пороге. Другого жандарма Цана не видит. О, она давно готова к этому вопросу, она пожимает плечами и встает со стула.

– Я его видела в последний раз одиннадцатого июня.

– И он больше не появлялся?

– Я его не видела.

Цана стоит в дверях со скрещенными руками на груди.

– А ну, пропусти, – говорит жандарм и отстраняет Цану.

Он быстро проходит в другую комнату, быстро обходит дом. Никого. Да он и не ожидал кого-то увидеть. Этот Здравко не прост.

– А вот некролог, – останавливается он около Цаны, – видела?

– Видела, конечно, он висит на каждой улице.

– А кто написал?

Цана пожимает плечами. Здравко учил: как можно меньше говорить. Жандарм злится:

– Мы знаем – написал твой сын.

Цана молчит.

– Быть того не может, чтоб он был в Плевне и не заходил к тебе. Говори.

– Укажите мне на того, кто видел Здравко после восстания. Я его не видела, – говорит Цана и чувствует, как дрожат ноги.

– Собирайся, пойдешь с нами в участок, – говорит другой жандарм, появляясь в дверях. – Там посидишь на цементном полу. Ничего, сынок, если только у него есть совесть, прибежит.

Цана, как была в черном платье, в черном платке, в нальмах (сабо, деревянные башмаки без задников), выходит на улицу. Жарко. Соседки выглядывают из-за штор. Перед церковью Св. Николая Цана останавливается, поднимает голову, смотрит на купол, где блестит небольшой крест:

– Господи, сделай, чтобы Здравко не узнал. Чтобы не пришел.

Участок рядом. Цану вводят и без дальнейших вопросов толкают в подвал. Первое впечатление – отдохнет от жары. В камере пусто, она садится на пол, прислоняется к холодной стене, вытягивает ноги. Нет мыслей. Есть страх: Здравко может сам явиться. А ему всего-то двадцать... Цана ложится на цементный пол, сильно болит сердце. Проходит день. Второй...

Никогда за всю жизнь столько не лежала, столько не молчала. Цана не спит, в полудреме механически повторяет: «Господи, спаси сына, сделай, чтобы Здравко не узнал, не пришел, Господи, помоги... Может, он уехал? Нет. Не уехал бы, не попрощавшись... Убьют... Сначала будут бить... Может, он уже лежит где-нибудь в лесу... как тогда Василий... как Асен Халачев...»

– Господи, помоги! – кричит Цана.

– Чего кричишь? – в дверях жандарм.

Раз в день приносят еду. Она вглядывается в лица жандармов... Кажется, ничего... И вдруг на третий день утром:

– Эй, Цана, выходи, сынок прибежал!

Уже не «госпожа», она – арестант, мать преступника.

В комнате, куда выводят Цану, громкий смех. Здравко напряженным взглядом оглядывает мать – серое лицо, глаза черные, ввалившиеся.

– Сынок! – бросается Цана к сыну.

– Куда! Нельзя! – кричит жандарм.

Сын поднимает руки, и Цана видит наручники.

– Мама, не плачь. – Голос сына злой, раздраженный.

Цана пугается. Что-то она делает не так.

– Пошел! – кричит жандарм и толкает сына в спину.

В глазах сына беспокойство за нее – выдержит ли? Мать стоит в измятом черном платье, растрепанная, черный платок сполз на плечи, пристально смотрит в глаза сына.

– Свободна, – слышит она.

Из записок моего отца:

«А они забрали мою мать. Посадили в участок. “Пока не придет твой сын, будешь сидеть на цементном полу”. Вести разносятся. Да. Так я узнал, что мать в участке, и говорю: “Пойду, сдамся”. А мне говорят: “Убьют”. И все-таки пошел. Мать выпустили.

И она выскочила из участка и побежала к нашему дальнему родственнику, он был известный фашист. И этот родственник написал: “отпустить” на клочке бумаги. Когда меня отпускали, начальник участка сказал: “Знаю, что именно ты подожжешь Плевну с четырех сторон, но приказ есть приказ. И я сейчас тебя отпускаю. Но в ближайшее время арестую. Ты от меня не убежишь”.

...Еще раз я приехал попрощаться с матерью. Приехал ночью. А ночь была лу-у-у-нная. Тихо пробрался по двору, стукнул в окно. Она выскочила во двор. Мама, которая боялась остаться одна, которая хотела, чтобы самый маленький сын остался с ней и остался живым, чтобы я был с ней в последний час, шептала:

– Беги, сынок...»

Бедная моя бабушка Цана. Она в последний раз заглянула в глаза сына, положила голову ему на плечо. Она не плакала. Плакал папа.

«По решению ЦК БКП я должен был уехать в Югославию. В Софии я был неизвестен и смог получить паспорт и поехать в Австрию легально, с возможностью оттуда уехать в СССР или остаться в Австрии как студент. Второй раз мне предлагалась возможность поехать в Россию. Но в этот раз меня остановил мой сыновний долг – мама. Моя родная мама! Мысль, что я ее оставляю одну, бросаю, что, может быть, мы больше никогда не увидимся, связывала меня невидимыми нитями. Все же в Австрии я мог жить легально, учиться, и, возможно, мне бы удалось видеться хотя бы изредка с матерью. А в Советской России во всех случаях должен был лишиться легального паспорта, и когда и как могло осуществиться возвращение оттуда, никто не мог сказать...»

В папин родительский дом, показавшийся мне большим, я попала в январские школьные каникулы 1946 года. Зимним вечером в этом доме собрались гости – все хотели поздравить папу с возвращением в родной город. Почему-то было очень весело, мы с братом бегали по кругу, белые чистые стены, старинные черные, кованые ручки на тяжелых, низких дверях. И вдруг, с трудом повернув черную ручку, я увидела папу. В пустой комнате стояла одна железная старинная кровать, с коваными витыми спинками, кровать без матраса, без простыни. Папа лежал на широких железных переплетах, заложив руки за голову. Он даже не повернул голову в мою сторону.

Именно в окно этой комнаты давным-давно тихо постучал он, и его мама сразу открыла окно, будто только этого и ждала...

С этого дня начались скитания папы, его эмиграция сначала в Австрию (когда он иногда мог видеть мать), а после ее смерти в 1927 году – в СССР.

Как-то незадолго до смерти папа мне рассказывал о том, как чуть было не потонул, когда, не рассчитав сил, заплыл глубоко в море. Меня поразили его слова:

– Так ясно представил – силы кончатся, упаду на дно, рыбы увидят, что неподвижный, начнут кусать – и конец жизни, конец мировой революции!

Я была поражена: для него жизнь и осуществление мировой революции – а значит, построение социализма – были равноценны?

Молодость папы пришлась именно на то время. Да, тогда многие, очень многие верили, именно верили – в мировую революцию, в ее победу, в итог этой победы – построение социализма во всей Европе. Да, было время, когда дед моих сыновей и прадед моих внуков боролся за построение нового общества, которое создаст все условия для счастливой жизни.

Утверждение, что построить социализм можно и в одной, отдельно взятой стране, было высказано позже, уже в 1930-е годы, когда надежда на всемирную революцию угасла. А тогда, в начале двадцатых, еще жила идея перманентной мировой революции. Троцкий, страстный защитник этой идеи, призывал немедленно нанести удар по немецкой буржуазии: «Если коммунистам удастся захватить власть в Берлине, – утверждает он летом 1923 года, – то это станет началом конца ненавистного для всего человечества капиталистического порядка». Он требует не упускать удобного случая. А ситуация в Германии после Первой мировой войны была очень тяжелой.

И вот осенью 1923 года посылаются в Германию с секретной миссией четверо важных советских руководителей: Юрий Пятаков – заместитель председателя Высшего Совета Народного Хозяйства, Иосиф Уншлихт – заместитель председателя ОГПУ, Карл Радек – деятель Коминтерна и Василий Шмидт – народный комиссар по вопросам труда. Каждый имел свой круг задач: Пятаков должен был осуществлять связь с Москвой, Радек – исполнять роль эmissара Коминтерна в немецкой компартии, Уншлихт должен был организовать «красные сотни», которые будут непосредственно осуществлять «революционное насилие», а затем станут костяком германского отдела ОГПУ. В задачу Шмидта входило создание коммунистических ячеек на предприятиях и подготовка создания рабочих советов – зародышей новой государственной власти. Революционные агитаторы – немцы и коммунисты, говорящие по-немецки, – были переброшены в Германию в составе «торговых делегаций». Оружие, агитационные листовки поступали по дипломатическим каналам. Финансирование переворота шло из сумм, предназначавшихся для оплаты обычных торговых операций. Готовились серьезно.

Тогда, в ноябре 1923 года, революция в Германии провалилась. Но Европа еще бурлила. Был расчет, что поднимутся рабочие из других стран. В октябре 1923 года, после разгрома в Болгарии сентябрьского восстания, австрийская пресса сообщает, что в Вену приехали Георгий Димитров и Василий Коларов. В Вене учреждается Заграничное бюро БКП, одобренное ИККИ – Исполнительным комитетом Коммунистического интернационала – Исполкомом Коминтерна.

Именно в это время папа эмигрирует в Австрию.

Это было в конце 1923 года. Поезд замедлил ход и остановился на станции Ниш. Билет у папы был до Вены, но, по инструкции, он должен был сойти в Нише, чтобы представиться руководству болгарских политэмигрантов.

Папа принарядился, но именно этот парадный вид (черный костюм, белая рубашка, черные туфли) и выдавал в нем бедного провинциала. Он высунулся в окно. На перроне стояли Георгий Дамянов, Иван Кинов, Фердинанд Козовский – партийное руководство. И папа ринулся к выходу.

Лично ни с кем папа не был знаком – это были люди старше его, авторитетные, и знал папа их только по партийным конференциям. Хорошо одетые, представительные, спокойно и молча они смотрели на папу, похлопали по плечу, разглядели паспорт. Потом Дамянов сказал:

– Здравко, поезжай в Грац. С этим отличным дипломом запишешься студентом. Но сначала в Вену, к Бояну.

В поезд сажались люди. Оглядывали подозрительно, потом забывали. В Белграде села в поезд невысокая худенькая девушка с интеллигентным лицом, со скрипкой в руках.

– Вы из Софии? – обратилась она к папе по-болгарски.

Папа хмуро взглянул, качнул головой и отвернулся к окну.

Ехали по Хорватии. Ровное поле кругом, река Сава широко разлилась по равнине, а за ней полыхал кровавый закат. Слева и справа – дома и церкви в готическом стиле. Папа настолько был поглощен зрелищем, что не заметил, как девушка вытащила из футляра скрипку и заиграла «Песню Сольвейг» Грига. Мягкая, исполненная грусти и нежности мелодия заполнила купе, и, сам того не замечая, не отрываясь от окна, папа тихонько стал подпевать.

– Вам знакома эта мелодия? – Девушка глядела удивленно на папу.

Папа вздрогнул и замолчал. Его бедняцкий, провинциальный вид, его хмурая застенчивость никак не могли навести на мысль, что он образован и в какой-то степени музыкален.

«Только потом, по прошествии многих лет, мне пришло на ум: не села ли скрипачка специально в вагон, не была ли она послана Заграничным бюро, чтобы вот так же ободрить меня, как потом делал я на протяжении нескольких лет? Откуда она могла знать, что я болгарин? Она прекрасно говорила по-немецки. Возможно, она хотела мне помочь прийти в себя, мучилась и, не зная, как облегчить мое состояние, заиграла. Может быть».

В Вене искал улицу Таборштрассе, где в доме под номером 2 на первом этаже находилась закусочная, а на втором располагался один из отделов Заграничного бюро ЦК. Открыл дверь – перед ним стоял спокойный, скромный, внимательный молодой человек лет тридцати, товарищ Боян, секретарь заграничного ЦК БКП.

«Как же я был рад, когда понял, что Боян – это Иван Генчев Караиванов, бывший заведующий литературно-художественным отделом при партийном журнале “Новое время”, редактором которого был Дмитрий Благоев. Еще будучи учеником, я много читал. Журнал “Новое время” прочитывал от корки до корки. Мне очень нравились хорошая художественная критика, под которой стояла подпись “Иван Генчев”. Он меня очень интересовал, и когда представилась возможность и я оказался в редакции, то познакомился с ним.

Он меня тоже узнал и тепло встретил.

– Ты легализуешься, – сказал он. – У нас хватает нелегализованных. С документами об окончании среднего образования запишешься студентом».

Постепенно папа входит в новую жизнь. Оживляет свои скудные познания в немецком, знакомится с городом, работает курьером ЦК. Что содержат пакеты, кто адресат – конечно, не знает, но часто пакеты были предназначены для внешнего отдела советского посольства. С трепетом переступал порог, будто пересекал советскую границу, говорил только – «от Бояна». *«Этого было достаточно – чтобы потом целый день было легко на душе».*

Сейчас, задумываясь, на какие средства папа существовал, вспоминая его слова *«как жил первые полтора года – один Бог знает»*, я понимаю – единственным источником средств была та мелочь, которую ему выдавали на трамвай. Будто сквозь сон доносятся слова: *«Всюду ходил пешком. Всю Вену исходил»*. С утра ему вручали почту, он спускался вниз, где была расположена забегаловка, там стоя выпивал чашку эрзац-кофе. Съедал бутерброд. И затем... принимался ходить по адресам. Постоянного местожительства папа в Вене не имел, спал там, куда посылали, обыкновенно в пригородных кварталах. Зато отлично изучил этот прекрасный город. И, конечно, старался посещать музеи в дни открытых дверей, библиотеки, а также учил, учил немецкий.

Вскоре его стали использовать и для другой деятельности: *«Связывали меня с нашими людьми, приезжающими из Советского Союза и едущими в Болгарию. Эти люди шли в основном по военной организации партии. Я организовывал им встречи, оказывал помощь при легализации, знакомил с обстановкой в Болгарии. Однажды меня предупредили, что приехал Василий Каравасилев (о котором знал, что после Сентябрьского восстания опять вернулся в*

СССР продолжать образование в Военной академии в Москве) и хочет меня видеть. Не мог дожидаться встречи. Василий, старый конспиратор, назначил мне встречу в венском кафе».

Спустя несколько недель, под вечер, в маленьком венском кафе, с диванами, на которых можно было видеть дам со спицами в руках, за маленьким столиком сидели двое мужчин, очень похожих друг на друга. Старший брат и младший – тот же высокий лоб, шапка курчавых волос, тонкие, будто нарисованные, брови, волевой подбородок, черные глаза... только у старшего была недавно отпущенная борода для маскировки.

«Этому человеку верил, как себе. Мог говорить обо всем. Делиться волнениями, мыслями, соображениями. Василий был личностью большой величины – партийной, военной, интернациональной. В начале он задавал вопросы, хотел сориентироваться в обстановке в Болгарии, в Плевне. Для него это была очень ценная информация, перед его появлением в Болгарии. Я бы первый из Плевны, которого он встретил. Когда заговорили обо мне, показал ему письмо, подписанное кровью, сказал, что предполагаю, что написал его Ванко Мильчев, сын плевенского адвоката, цанковиста. С Ванко мы были ровесники – буйный, нахальный, он неоднократно заявлял, что имеет большое желание испить моей кровушки. Каравасилев сказал: “ничего странного”, и положил письмо в карман.

Пока Василий был в Вене, встречались несколько раз. Однажды его сопровождал молодой худенький человек в очках, с подчеркнуто интеллигентным лицом.

Белое доброжелательное, миловидное лицо излучало спокойствие и сдержанную одухотворенность, и даже на ум не могло прийти, что за этим видом скрывается опасный конспиратор.

– Меня зовут Иван Минков, – и усмехнулся дружески.

Опять пили кофе. Но на этот раз в шикарном большом кафе».

Спокойно, привычно сидели на мягком диване двое – Василий Каравасилев и Иван Минков. Папа сидел в кресле спиной к залу и был настороже. Неяркий свет из-под розовато-кремового абажура освещал лица. Все трое медленно пили кофе и тихо беседовали.

В основном говорил папа, описывая положение в Болгарии, и когда он, возбуждаясь, повышал голос, Иван Минков похлопывал его по руке.

Минкова интересовали многие вещи, но больше всего то, что связано с фашистской разведкой – поведение ее сотрудников днем и ночью. Отношение их к коммунистам, к земледельцам, к социалистам.

«И Карата, и Минков разговаривали в моем присутствии совершенно свободно. Понял, что и Минков отправляется в Болгарию в военный отдел ЦК БКП. И что учится в Москве в Академии имени Фрунзе.

Минков задавал вопросы, которые я вообще никогда не задавал себе. Теперь смотрел на собеседника совсем другими глазами. Внешний вид его был обманчив, не соответствовал его глубине. Минков говорил тихо, без жестикulyций, казалось, что мы собрались просто посидеть, побеседовать и выпить по чашке кофе».

– Маловероятно, что полиция располагает столь большим количеством детективов и агентов. Вероятнее всего – это добровольные сотрудники полиции. Государственный бюджет не может выдержать такой аппарат, – задумчиво подытожил Минков папин рассказ и, улынувшись, непринужденно направился к роялю, стоявшему в глубине зала.

Папа, замерев, смотрел на спокойно идущего мимо столиков Минкова. Оглянулся на Каравасилева, потом опять на Минкова. Иван Минков легко поднялся на сцену, поднял крышку рояля и тронул клавиши. Музыка, прекрасная, исполненная задумчивости и смирения, заполнила кафе.

Все затихли, кафе превратилось в концертный зал. Наступал вечер – время, когда жители Вены заполняют кафе и рестораны. В заведении было много народа, и папа испугался. Как

Минков осмеливается привлекать внимание посторонних в кафе в центре Вены? Но Каравасилев только смотрел на папу, усмехался и молчал.

– Какой музыкант! – восклицали посетители, они бурно рукоплескали после каждого исполнения. Просили играть и играть еще. Но их воодушевление совсем папу не успокаивало.

– Кара, – сказал папа, – немцы что-то очень заинтересовались нашим человеком. Не привлечь бы внимание полиции.

– Слушай, слушай, отдохни душой, расслабься.

«Тогда мог ли знать, что Минков являлся автором мелодии к прекрасному стихотворению Ивана Вазова:

*Убитые, в иной вас полк послали,
Нет отпуска, не слышан зов борьбы,
Легли, по-братски руки сжали,
Друг другу доброй ночи пожелали
До той – второй – трубы...*

Сейчас эти слова выбиты на памятнике Неизвестному солдату в Софии».

С фотографий смотрят на меня и Каравасилев, и Минков. Каравасилева по-прежнему можно спутать с папой. Только взгляд... Взгляд открытый, но немного печальный. Минков задумчиво смотрит в сторону. Его умное близорукое лицо, круглые очки, рассеянно-задумчивый вид внушают опасение за его судьбу. Возможно, он видит то, чего не видят другие; возможно, ему страшно; возможно, он предугадывает свой конец.

Каравасилев погиб спустя несколько месяцев. Погиб в Болгарии, так и не возвратившись в Москву. Иван Минков через год после этой встречи, тоже в Болгарии, покончил с собой в момент ареста.

«В это же время в Вене появился и другой сотрудник военного центра партии Трифон Георгиев Ямаков, бывший студент философского факультета в Софии. Я тоже в [19]22 году записался на этот факультет, но т. к. не мог посещать занятия, то часто в Плевне собирались беседовать с Ямаковым. Еще тогда Ямака имел пропуск в Общественную безопасность, где его считали своим человеком, тогда как в то время он работал в Военной организации партии и мог сообщать о самых злостных садистах. Ямака узнал, что я в Вене, и тоже захотел встретиться со мной. Эта встреча чуть было не перевернула мою жизнь. Ямака сказал, что работает в Софии, но под нелегальным именем, что партия усиленно готовится к новому восстанию, кадры вооружаются и связываются через пароль “Балкан”. Он был воодушевлен – без сомнения, на этот раз восстание будут успешным, возьмем власть, приехал в Вену с отчетом и за инструкциями. И во время рассказа вдруг обратился ко мне:

– А ты что тут делаешь? А ну, возвращайся обратно и берись за дело. Чтобы потом не сожалеть.

Мне этого хватило. Был готов сейчас же поехать. Но в Заграничном бюро решили не так – Ямак уехал в Болгарию, а меня направили в Грац, для создания Партийной Группы Содействия.

Боян (Иван Генчев) объяснил и задачи ПГС – постепенная массовая организация студентов-коммунистов, привлечение левонастроенных студентов, создание общедоступных легальных организаций – университетских кружков, столовых, кружков самодеятельности и т. д. Кроме того, ПГС должна была исполнять и другие задачи – организовывать явки, предоставлять курьеров для Болгарии и в другие страны, снабжать паспортами и т. д.

При отъезде из Вены Боян мне дал книгу на русском языке – “Лекции об основах ленинизма”, под редакцией Товстухи, лекции, читанные Сталиным в апреле 1924 года, в Свердловском университете в Москве (будущая Высшая партийная школа).

Книга появилась в Австрии на русском языке, еще пахнувшая типографской краской. Сначала я не понял, зачем мне ее дали, была только одна мысль – как быстро она дошла до нас. – Познакомься с ней, она тебе будет полезна, – сказал Боян».

В конце мая папа отправился в Грац.

В жизни все загадочным образом связано, ничего не существует само по себе, события длятся, переплетаясь одно с другим, ничто не исчезает бесследно. Причудливо жизнь тасует судьбы. Я упоминала о Василии Шмидте, который был послан в Германию осенью 1923 года для подготовки восстания. А потом... В 1980-х годах я приехала к папе в Софию, мы сидели за столом, и в разговоре я упомянула про свою приятельницу Таню Товстуху. Папа подскочил на стуле:

– Товстуха! – закричал мой восьмидесятилетний отец. – Да ты знаешь, кем был Товстуха? Ты знаешь, что он редактировал все труды Сталина?

До этого я неожиданно познакомилась с сыном того самого Шмидта – Вадимом Васильевичем (жена и друзья его называли Димой) и женой Димы Татьяной Ивановной Товстухой – дочерью того самого Товстухи, фамилию которого прочел папа на книжке «Вопросы ленинизма» еще в 1924 году в Вене.

Жили они в «Доме на набережной» – бывшем правительственном доме на улице Серафимовича, у Каменного моста, в квартире, принадлежавшей Таниному отцу, Товстухе Ивану Павловичу. Бывая у них в доме, я с интересом рассматривала исторические фотографии. Вот заседание Совнаркома (советского правительства) в восемнадцатом году, – 19 человек, и среди них Шмидт. Вот известная моему поколению фотография – Сталин, Ленин и Калинин, а внизу, оказывается, на этой же фотографии был запечатлен Шмидт. Вот собственноручная записка Сталина, адресованная Ивану Товстухе... Я пристально вглядывалась в лица на фотографиях. Лицо Василия Владимировича Шмидта казалось невыразительным, довольно мрачным, некрасивым. Лицо Ивана Товстухи, наоборот, было красиво, но взгляд исподлобья был тяжелым. Мне удалось узнать, как сложилась их жизнь.

Жизнь Ивана Павловича, если не считать туберкулеза, которым он страдал с молодости и от которого преждевременно умер, складывалась, по внешним признакам, счастливо. Высокое положение, интересная работа, продолжение дела молодости – редактирование трудов Ленина, Сталина, любимая жена, дочь... И умер-то своей смертью, в кругу семьи, в подмосковных «Соснах», где провел из-за болезни последний год жизни. Захоронен в кремлевской стене по приказу Сталина.

Про Шмидта такого сказать нельзя. Шмидт Василий Владимирович (фамилия его отца чисто русская – Шерстобоев, Шмидт – это фамилия матери-лютеранки, церковный брак с которой из-за различия вероисповеданий не состоялся). Занимавший руководящие посты при зарождении Советского государства, он уже давно на заметке у Сталина. В конце 1920-х Сталин начинает борьбу с правой оппозицией. В ее рядах – Шмидт, в 1928–1930 годах – заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР А. И. Рыкова. В 1930-е годы карьера Шмидта постепенно угасает. Его отправляют на Дальний Восток, в Хабаровск, на малозначительную должность. Казалось бы, уцелеет в страшный террор? Но нет. В январе 1937-го – арест. Изъяты письма, документы, кавалерийская пашка, книги Бухарина, Каменева. В следственном деле Шмидта записано, что он обвиняется в том, что возглавлял правую оппозицию вместе с Бухариным, Рыковым, Томским. Первый приговор за правый уклон – 10 лет с поражением в правах и с конфискацией имущества. После годичного заключения, в том числе в одиночке Лефортовской тюрьмы, новое обвинение: «Намеревался продать Дальний Восток Японии»,

второй приговор. Суд длился так же быстро, как и первый: всего двадцать минут. Приговор – расстрел.

Такая уж судьба выпала на долю Шмидта. При царе переменял с десяток тюрем, в 1917 году выпущен, казалось, из последней – из «Крестов». Но нет. Спустя 20 лет – опять тюрьмы: Лефортово, Бутырки... Есть рассказ одного оставшегося в живых свидетеля о случайной встрече со Шмидтом в Бутырках летом 1938 года, за несколько недель, а может – дней до его расстрела.

«Василия Владимировича втокнули в камеру, он успел рассказать, что до этого долго сидел в одиночке. Он ничего не знал о войне в Испании, лихорадочно расспрашивал о старых большевиках. Вскоре его буквально выдернули из камеры, видно – запихнули по ошибке».

И вижу я изможденного человека, дух которого остался несломленным, молодым. Не знаю, успел ли он получить ответы на вопросы о старых большевиках. Да и что можно было о них тогда сказать?

Реабилитирован Василий Владимирович Шмидт 30 июля 1957 года.

В 1954–1955 годах родственникам выдавались разного рода свидетельства о смерти репрессированных. Умер в Москве или еще где-то. Причина – то болезнь, то прочерк. Чаще всего – прочерк. А даты подбирались так, чтобы сгладить пик 1937–1938 годов. Диме в декабре 1955 года выдали свидетельство о смерти отца 21 августа 1940 года. С причиной – прочерк. Еще одна бумага из следственного дела Шмидта попала Тане значительно позже, уже после смерти Димы: «Расстрелян 29 июля 1938 г.» И приписка: «Считал бы целесообразным сообщить родственникам, что Шмидт умер 21 августа 1940 г.»

Жена Василия Владимировича – Лидия Максимовна – была красавица. Сузу и по портрету, написанному Пастернаком-отцом, и по фотографии в «Правде» – девушка в красной косынке на первом коммунистическом субботнике (когда Владимир Ильич нес бревно). Она и в старости была красива. Училась в студии МХАТ, но на сцену не пустил муж: «Знаю, к чему приводят эти отношения, вижу на примере любвеобильного Луначарского». Супруги долго жили в Кремле, пока не съехали в Лебяжий переулок. Лидия Максимовна в 1930-х тоже была арестована, но от ссылки ее спас Калинин, в секретариате которого она работала, проявив неожиданное мужество... позже он не смог спасти свою собственную жену.

Вадим Васильевич (Дима) Шмидт был физиком, он – известный исследователь сверхпроводимости, доктор физико-математических наук, работал в Научно-исследовательском институте физики твердого тела АН СССР вместе с моим мужем. Он был профессором в Институте стали и сплавов, монография по материалам его лекций вышла сначала у нас, затем переиздана в Англии. Доброжелательный, принципиальный, свободный от комплексов, спокойно осознающий свое место на земле, лишенный снобизма – Дима был одним из лучших людей, встретившихся на моем пути. Невысокий, с курчавыми волосами, толстыми губами, похожий немного на мавра или на химеру с собора Парижской Богоматери, он знал поэзию и очень любил «Василия Теркина», читал всего наизусть, знал наизусть и всего Симонова, довоенного и военного времени, любил Светлова, Уткина. После смерти Димы Шмидта его ученики – физики-альпинисты впервые прошли в горах Тянь-Шаня по плато на высоте около пяти тысяч метров, неподалеку от пика Победы. В результате обследованное плато назвали в честь Вадима Васильевича Шмидта (это название официально зарегистрировано).

Таню я полюбила не сразу, но сразу почувствовал ее отличие от других. Высокая, худая, в очках, стриженная «под горшок», она говорила тихим голосом, будто гипнотизируя. От всего ее облика веяло чем-то несовременным, мне казалось, что она постоянно прислушивается к чему-то давно ушедшему и сверяет свою сегодняшнюю жизнь с той, неизвестной мне жизнью. У них с Димой две дочери, обе красавицы – Наташа и Таня.

Меня умиляли отношения в этой семье, вызывало зависть то, как они проводили отдых: семьей они исколесили Прибалтику на велосипедах; раз в две недели, и это было свято, они вчетвером собирались вокруг приемника и слушали передачу «Старые песни».

Полюбила я Таню после смерти Димы, в 1985 году. Мы проводили с ней много времени, она приезжала к нам в Черногоровку, где за Димой еще оставалась служебная квартира. Мы бродили по лесу, гуляли до поздней ночи вокруг озера.

– Это ты меня спасла, – говорила впоследствии Таня. – Ты выгуливала и выслушивала меня.

Таня рассказывала:

– У отца было много книг, доставшихся от черниговских народовольцев. Жандармский поручик, когда пришел с обыском, распределил их по трем категориям: преступного, тенденциозного и частного содержания. Лев Толстой – к первой категории, Карл Маркс – ко второй и третьей.

Я молчу, не хочу перебивать, но про себя ахаю: там, в Болгарии, когда к папе пришли с обыском, тоже первой книгой, брошенной в мешок, была «Война и мир», а «Капитал» Маркса остался на полке.

– Отца выслали в Сибирь, в Тутуру. Он бежал оттуда. Жил несколько лет во Франции. В Россию вернулся после революции. Случайно на улице встретил друга по тутурской ссылке – Станислава Пестковского, тот был заместителем наркома национальностей (т. е. Сталина) и пригласил отца работать к себе. Сталин в это время разъезжал по фронтам. Когда в 1923 году Сталин стал секретарем ЦК партии, отец работал одним из четырех его помощников. В 1928 году у отца был конфликт со Сталиным. Сохранилось письмо отца к Сталину – с просьбой освободить его от работы в ЦК, с резолюцией Сталина: «Ха-ха-ха! Подумаешь, какой петушок!»

Таня говорила медленно, постоянно к чему-то прислушиваясь.

– Последние годы отец был заместителем директора ИМЭЛ (Институт Маркса, Энгельса, Ленина). Отец, конечно, очень много знал. Он готовил к изданию труды Сталина, работали вместе. Много не вошло в собрание сочинений. После смерти отца все бумаги Сталина были у нас изъяты. Мы тогда жили в основном в «Соснах», там отец и умер.

Помню паломничества к Кремлевской стене. Девятого августа мама звонила из «Сосен» коменданту Кремля, просила пропустить ее и других родственников. Договаривались на определенный час. Обычно несли хризантемы из местной оранжереи. Подходили к Мавзолею и вставали сбоку, слева от калитки в ограде. Ждали минут 20–40. Потом в сопровождении военного шли направо, к последним четырем нишам – одна из них отцовская. Потом процедура вкапывания цветов в землю. Приходил кто-то и делал это своими проверенными руками.

Как-то мы шли с Таней по ноябрьскому серому лесу. Казалось, деревья, как воздух, наполнены водяной пылью. Таня, немного угловатая, шла легко. Водяная пыль свисала каплями с веток. Прошло три месяца со дня смерти Димы.

– Вот, – сказала она, останавливаясь и вынимая фотографию мужа, – здесь он немножко замерзший. Вот такой он был, когда приезжал из Черногоровки. Сейчас достанет платок и высморкается. И еще – на фотографии он недоволен собой. Раньше мне казалось – у него на этой карточке очень веселый довольный вид, вот возьмет и подмигнет. А сейчас – нет.

Таня неподвижно глядела на меня большими зрачками из-за толстых стекол.

– Весной он мне сказал: «Как жизнь быстро прошла». За неделю до смерти, а может меньше, он мне сказал: «...Будем знать только мы с тобой, просто ты умела ждать, как никто другой». Первую строчку опустил. Это когда я принесла ему травки пить, и ему стало легче. Папа умер тоже девятого августа.

– Что?!

– Да-да, папа умер в один день с Димой, тоже девятого августа. Папа в 36-м, Дима в 85-м. На этой фотографии у него очень строгий вид. Раньше она у меня была в записной книжке, маленькая. Я всегда раскрывала ее, и она была со мной. Есть другие карточки, более мягкие, но там у него везде виноватое лицо. Вот такое лицо было, когда он попал в аварию. Он же разбил совершенно новую «Волгу». Он не спал тогда четверо суток, с матерью было плохо. Это случилось за несколько дней до смерти Лидии Максимовны. А потом мы все никак не могли захоронить урну с прахом Лидии Максимовны. И вот, когда я узнала про Димкин диагноз, я поехала в Донской монастырь, урна была внизу, в подвале, и я стала в подвале и просила ее не забирать Диму. Я стояла и просила ее не забирать его.

Сила духа Тани Товстухи очень ярко выразилась при прощании с Димой на его похоронах, и проявилась она в спокойствии. Силу духа Таня передала и своим дочерям. Они тоже не плакали.

После смерти мужа в память о нем Таня сменила свою прежнюю, девичью фамилию – теперь она Татьяна Ивановна Шмидт. На огромном валуне, привезенном из Эстонии, лежащим на могиле мужа, есть и доска с фамилией ее свекра – Василия Владимировича Шмидта, чье место захоронения неизвестно.

Ежегодно в день Диминой смерти, 9 августа, и в день его рождения, 7 февраля, Таня собирает у себя близких людей, знавших и любивших Диму.

Как бы ни оценивали сегодня наше прошлое, но для меня очевидно, что среди поколения тех, кто делал революцию, было очень много чистых людей, искренно веривших в возможность установления всеобщего счастья. Эта уверенность угасла быстро, но чистота помыслов отцов передалась детям. То истинное, что вдохновляло революционеров в начале прошлого века, во что они так истово верили, сохранилось и сегодня, отразилось, преломилось в детях Василия Шмидта и Ивана Товстухи.

Весной 1924 года папа уже в Граце, легализуется, записывается в университет, на факультет индустриальной химии. Но занятия кончились, денег нет. Возникает идея создать общую столовую для болгарских студентов, и папа начинает там работать.

Встает в 4 часа. Колет дрова, растапливает печь, носит воду. В 6 часов, когда приходит кухарка, уже все подготовлено – кипит вода, почищены овощи, нарезано мясо. В обед, засучив рукава, один, быстро, в три приема, моет собранные со столов 120 приборов. За ужином все повторяется вновь.

«За весь этот адский труд я получал порцию обеда и порцию ужина».

Вскоре столовая превращается в клуб и легальную явку подпольной организации, информационный центр, читальню, где всегда можно взять свежие газеты и журналы.

«С началом занятий ПГС увеличила свою агитационную деятельность – делали доклады как легальные, так и нелегальные. И только тогда я оценил книгу, которую мне дал Боян на прощание».

В ней познакомился с рядом вопросов, которые особенно нас волновали: партия нового типа, стратегия и тактика коммунистической партии, диктатура пролетариата, аграрный вопрос, ленинский стиль работ».

Обыкновенно выходили за город, там делал доклад среди природы. Там обсуждали, беседовали... При плохой погоде заходили в какой-нибудь трактир. Занимали отдельную комнату, и за кружкой пива опять-таки достигали нужный результат».

Из воспоминаний бывшего студента в Граце Георгия Абаджиева: «Особенно активизировалась деятельность организации после приезда (ныне нашего профессора) Здравко Мицова. Он, владеющий основами марксизма, делал, со свойственным ему красноречием, множество докладов по историческому и диалектическому материализму. Товарищи были поражены его начитанностью и знаниями, на что его старые приятели по Плевне Мирчо Колев и Альберт

Луканов с плохо скрываемой гордостью, хитро посмеиваясь, говорили: “Вы не смотрите на него, что такой скромный. Когда-то такой марксистский курс организовал, что поднял на ноги весь город”».

«Новое восстание предполагалось летом 1924 года. Не знаю, какими путями и каналами впервые до нас дошли слухи об ориентации партии на новое вооруженное восстание, но в Вене и в Граце весной 1924-го заговорили открыто о подготовке. В Граце в моих докладах я не ставил ребром вопрос о восстании, но слушатели мои явно понимали: для настоящего момента необходимо знать, что главное – это захват политической власти, а новое, что ленинизм внес в марксизм, – что это возможно осуществить единственным путем: через вооруженное восстание».

Для решения партии идти по революционному пути были совершенно реальные предпосылки: успех на парламентских выборах после сентябрьского восстания, создание единого фронта коммунистов и земледельцев. Революционный настрой болгарских студентов в Австрии крепчал. Однако лето миновало, и восстания не произошло. Студенты и не думали отчаиваться. И вот на берегу Мура, напротив пустынного средневекового замка Юнгфраушпрунг (Девичий прыжок), там, где густой лес и шум реки заглушает звуки выстрелов, студенты подпольной организации начинают готовиться к бою.

«Обучал нас Павел Тагаров, офицер запаса, капитан артиллерии, студент-медик. Под его руководством происходили обучения стрельбе. Он был истинным бойцом партии, готовый с жаром и искренним убеждением кинуться в революционную схватку для победы над фашизмом. Хороший агитатор. Был крупный, красивый, из богатой семьи, одевался хорошо – немки не могли оторвать от него глаз, но это ему не мешало ни работать над заданием, которое имел, ни сильно развитому чувству товарищества и самопожертвования.

В январе 1925 года мы получили распоряжение от Заграничного бюро, чтобы члены ПГС были вооружены и готовы к переходу в Югославию, где должны слиться с политэмигрантами и перейти в Болгарию. Все были охвачены воодушевлением. Некоторые даже пошили себе костюмы, подходящие для горных условий. Настроение было бойкое. Никто не учился, не было другого предмета для разговора, кроме восстания. До того были уверены в участии в новом вооруженном восстании, что в феврале 1925 года актив Грацкой коммунистической четы (отряда) решил сфотографироваться на память».

Семь человек – чета Павла Тагарова. Все старше папы. В центре «воевода» – командир Павел Тагаров, крупный, красивый, спокойно-уверенный. А вокруг него Илия Милушев, папа, Георгий Пукарев, Владимир Шурбанов, Тодор Николов, Никола Вылков (Буби). Хотя Тагаров в центре кадра, внимание останавливается на моем отце – тонкие губы сжаты, руки стиснуты на груди. Все члены отряда готовы умереть, но только у папы эта готовность так ясно написана на лице.

На одном из собраний папа произносит пламенную речь.

– Вопрос поставлен совершенно ясно: кто готов пожертвовать своей жизнью? – кричит Стоян Славов.

– Готов!

– Готов!

– Готов...

Двое отказываются. Стоян Славов кричит:

– Товарищи, дайте мне два пистолета! Я буду идти следом, и кто дерзнет бежать, будет убит!

«Мы были готовы, но ни сигнала, ни приказа об отправлении в Болгарию мы не получали. Тогда решили послать меня и Буби Вылкова в Вену и узнать, как связаться с Югославией, когда и куда надо отправляться...»

Вечером семь человек, вся *чета*, отправляется в оперу, шумно рассаживаются в ложе, ближе к сцене, и с наслаждением слушают «Аиду». Папа уже в хорошо сшитом дорогом костюме Тагарова. Затем по ночному Грацу разгоряченной толпой идут на вокзал провожать папу и Буби Вылкова в Вену.

«По приезде в Вену встречаемся с Бояном (Иваном Генчевым), и сразу на нас обрушивается сокрушительное разочарование. Избегая наших тревожных и вопросительных взглядов, представитель Заграничного бюро отрезал: “Больше нечего говорить, даже думать об этом! Никакой Югославии, никаких отрядов! Положение в стране изменилось. Лозунг вооруженного восстания снят!”

Посоветовал вернуться в Грац и учиться. Первый вопрос, как только вышли на улицу, был: как скажем товарищам об этом? Шли бесцельно по улицам, молчали. Потом дали телеграмму в Грац и поплелись на вокзал. Надежда, что поздно ночью нас никто не придет встречать, была напрасной».

Чета еле дожидается возвращения посланцев из Вены. Поздним вечером собираются на вокзале, в зале ожидания. Некоторые уже одеты по-походному, некоторые с маленькой поклажей. А вдруг сразу? Немедленно? И только Павел-воевода, Тагаров, по обыкновению, спокоен. Все так уверены в непременном отъезде, что не замечают угнетенного состояния прибывших.

– Никуда не едем, – проговорил еле слышно Буби.

– Что?! Да ты с ума сошел! Соображаешь, что говоришь?

– Никакой Югославии! Никаких отрядов! – Папа веско добавил: – Приказ Бояна!

Усилием воли молодые люди, рвавшиеся в бой, смирившие свой дух, вернулись к своим обязанностям: учиться, готовиться к экзаменам и сессии. Оторванные от Родины, они не знали, что происходило в стране.

А к этому времени уже вовсю идет уничтожение коммунистов, депутатов Народного собрания. Их убивают на улицах, поодиночке, «неизвестные» люди. Уже состоялась встреча царя Бориса с военным министром генералом Вылковым, уже министр познакомил царя с планом, рассчитанным на дальнейшую борьбу с «врагами государства», уже издан тайный приказ военного министра Вылкова:

«Все гарнизоны и воинские подразделения должны связаться с местными органами власти, чтобы согласовать средства борьбы против коммунистов и земледельцев... Необходимо в кратчайший срок составить списки таких людей, чтобы ликвидировать всех руководителей – виновных и невиновных... Каждый схваченный должен быть осужден и казнен в течение двадцати четырех часов. Бунтовщиков казнить на глазах у их сообщников, тех, кто откажется подчиняться офицерам, немедленно расстреливать. Смертная казнь каждому, кто разгласит что бы то ни было из данной инструкции».

Убит последний коммунист-депутат Народного собрания Хараламби Стоянов. Убиты некоторые сотрудники военного отдела ЦК, схвачен 24-летний студент-юрист Тодор Димитров, брат Георгия Димитрова. Когда после долгих и жестоких истязаний его, мертвого, вынесут в коридор, товарищи увидят на подошве башмака его последние слова, нацарапанные куском штукатурки: «Я никого не выдал».

Убит и Василий Каравасилев – уважаемый человек, первый папин наставник.

Именно в это момент Петр Абаджиев (член центра подготовки нового восстания) заявил: «Разве можно смотреть спокойно, как нас словно собак отстреливают на улицах. Мы отмстим».

14 апреля в софийских газетах появляется сообщение:

«В 10 часов 30 минут утра банда, состоящая из пяти-шести человек, сторонников единого коммунистическо-земледельческого фронта, вооруженная огнестрельным оружием, напала в Арабоконакской теснине на автомобиль, в котором следовал Его величество Царь, и убила двух его спутников. Разбойники, по которым был открыт огонь, скрылись».

А 15 апреля «террористы» убили отставного генерала Георгиева, председателя Софийского отделения «Народного сговора». На следующий день цвет правительства и высшего офицерства собрался в софийском соборе Святой недели (Св. Воскресения; в России – храмы Воскресения Христова. – *Ред.*) на отпевание. Папа вспоминает о событиях тех дней:

«Не прошло и месяца после нашего возвращения из Вены, как нас сразила очередная новость. 16 апреля 1925 года в Софии, в кафедральном соборе Святая неделя, когда правительство во главе с царем Борисом собралось на отпевание убитого генерала Георгиева, произошел взрыв. Несмотря на то, что взрыв был не очень сильным, так как произошел на крыше, было много погибших под завалами. Испуг был настолько велик, что трупы под завалами оставались на протяжении нескольких дней. Царь Борис не пострадал.

Я был потрясен, узнав о смерти Ивана Минкова, который покончил с собой, чтобы не попасть в руки палачей. В ушах еще звучали мелодии, которые он исполнял всего год тому назад в тихом венском кафе. В застенках “Общественной безопасности” был зверски убит Владо Благоев (сын Дмитрия Благоева. – И.М.), основатель первой партийной группы в Граце».

Петр Абаджиев, организовавший это покушение на царя – так называемый *атентат*, – выполнил свое обещание отомстить. Но какой ценой! Какие последствия! Кровавая драма разыгрывается на улицах Софии в апреле 1925 года. Объявлено военное положение. Карательный отряд капитана Кочо Стоянова, коменданта Софии, начал действовать в тот же вечер, 16 апреля. Подозреваемых расстреливают во дворах казарм, душат веревочными петлями, по безлюдным ночным улицам мчатся битком набитые трупами, крытые брезентом фургоны. Здание Дирекции полиции переполнено, полицейские участки не справляются с бесконечным потоком задержанных, часть арестованных из Дирекции полиции переводятся в Центральную тюрьму, другая – в большую гимназию. Издается приказ: арестованных из провинции не везти в Софию, а пересылать в окружные центры.

Иван Минков, Коста Янков и Марко Фридман – руководители Военной организации коммунистической партии – убиты. Минков застрелился 20 апреля, заведя полицейских, пришедших арестовать его. Коста Янков вместе со своим товарищем в тот же день сожжен живым. Когда во двор вынесли два еще дымящихся обгоревших трупа, в окне соседнего дома появился еще один товарищ, скрывавшийся от властей, и обратился к руководившему операцией капитану Кочо Стоянову:

– Ты еще не насытился кровью, убийца?

Марко Фридман, третий руководитель Военной организации, пойман и повешен на голом пустыре близ Софии, на глазах у множества потрясенных людей.

Сколько было убито в апреле 1925 года – никто не знает. Царь Борис публично признавался, что жертвы исчислялись тысячами. Министр иностранных дел Калафов признался, что только в сентябре 1923 года было убито 5 тысяч человек. Этот террор не остался незамеченным за пределами Болгарии.

16 мая, спустя месяц после *атентата*, по улицам Москвы пройдут колонны траурной процессии в память жертв политического террора в Болгарии. Состоится грандиозный митинг протеста. Газета «Правда» выйдет с передовицей: «Софийские виселицы говорят...» и со статьей Михаила Кольцова «Москва – София», посвященной героям болгарской революции. Михаил Светлов через месяц принесет в «Правду» стихотворение:

Фридман! Ты не был последним,
Много еще других.
Церковь служила обедню.
Площадь казнила троих...

Смертью его не испуганы,

Ружья начнут разговаривать.
Спи, товарищ, обугленный,
В этом последнем зареве.

Но еще раньше, всего на пятый день после покушения, без указаний из Вены, партийная группа в Граце созывает митинг в защиту жертв развернувшегося в Болгарии террора.

«Митинг был назначен на 21 апреля, в большом ресторане “Шенцелвирт”. Ресторан был нанят на короткое время. Вечером там должно было состояться свадебное торжество. Гора дорогих сервизов уже была выставлена на буфете. Ровно в назначенное время начался митинг. Оратором был Павел Тагаров. Председателем был Кирилл Кирчев.

– Мы, болгарские студенты в Граце, глубоко потрясенные обильно пролитой человеческой кровью, обязаны дать следующие пояснения гражданам Европы. 16 апреля в Софии произошло неслыханное преступление. Кто совершил это злодеяние, мы не знаем. Но абсолютно ясно то, что совершено свыше 10 000 арестов граждан, которые ни при каких обстоятельствах не могли быть виновными.

В ресторане стояла тишина, готовая разразиться взрывом. Взгляды, сжатые кулаки, напряженные позы говорили красноречиво.

– Справедливо и гуманно ли сделать тысячи невинных людей ответственными за одно безумное дело? – продолжал Тагаров.

В это время раздались громкие удары в стеклянную дверь и крики:

– Откройте! Впустите и нас!

Болгарские студенты-фашисты, покрыв быстрым маршем два километра от университета, в крайнем возбуждении, с криками, что здесь собрались именно те, кто совершил этот атентат, что в развалинах собора остались их родные и близкие, ломились в дверь.

– Не ваше собрание! – кричали стоявшие в оцеплении в вестибюле.

– Мы апеллируем ко всем справедливым и честным людям культурной Европы, поднять голос против жестокого террора и спасти миролюбивый болгарский народ от уничтожения! – Голос Тагарова заполнял вестибюль.

– Пустите! Мы хотим участвовать! – кричали снаружи.

Часть фашистских студентов ворвалась в вестибюль, размахивая зонтиками и палками.

Взвняв за руки и образуя полукруг, стоявшие в оцеплении кричали:

– Собрание окончилось! Не переступайте порога зала!»

О! Они не понимали, как своевременно они появились! Все нетерпение долгого ожидания восстания собралось в единый комок, и его швырнули навстречу рвущимся в зал. Это не была драка – это была битва, это была спасительная разрядка от напряжения, в котором они жили последнее время. С каким яростным вождением вырывали из стен вешалки, прицеливались пивными кружками, как элегантно посылали вертящиеся пропеллером тонкие саксонские тарелки, которые, описывая параболы, задевали по пути хрустальные люстры и со звенящим треском разбивались о головы противников. Вся черная кровь, скопившаяся от последних известий, от сдерживаемого гнева, от долгого ожидания расправы, теперь находила выход.

Тагаров молча поднимал над собой столы, один за другим, и опускал их на головы противников.

Да, это был незабываемый бой! Наконец, прибыла конная полиция.

«Мы, наконец, вытолкали всех, кто напирал на двери. Когда огляделись – в зале царил полный хаос. Мы вышли на улицу. Какой-то “противник”, с окровавленной шеей, страшный своими стеклянными глазами, схватил одного коня под уздцы и охрипшим голосом все повторял полицейскому:

– Арестуйте их, арестуйте их. Они убили наших отцов.

Мы ждали, что предпримет полиция. Услышали, как командир сказал:

– Ваши раздоры нас не интересуют. Собрание было законно зарегистрировано. Я должен водворить гражданское спокойствие».

Эту драку можно было бы отнести, конечно, к обычному столкновению хулиганствующих молодцов. Одна компания против другой. Но как продуманно, решительно и быстро эти «хулиганы» продолжали действовать! Тагаров направился в редакцию местной буржуазной газеты «Тагеспост», затем к епископу Штирии, правильно рассудив, что после того подпишутся в поддержку резолюции многие видные австрийские ученые. Другие отправились к влиятельным социал-демократическим лидерам. Папа сел писать статью в местную социал-демократическую газету «Арбайтер виле». О событиях в «Шенцелвирте» неоднократно писал центральный орган австрийской социал-демократической партии «Арбайтер цайтунг» и орган австрийской компартии (АКП) «Роте Фане». Спустя всего пять дней после *атентата* протест грацких студентов – первый в мире – был подхвачен другими, сообщения были переданы по всей Европе. Прогрессивная пресса подняла голос протеста против террора в Болгарии.

«Этот эпизод расстроил наши души, но положение продолжало оставаться неясным. Что нас ждало в дальнейшем? Куда должны мы идти? Товарищи из Вены молчали. Постепенно нас начало охватывать отчаяние и безысходность. Руководство поручило мне сделать доклад о перспективах нашего развития, нашей тактики и стратегии. Я был самый молодой, 22-летний, а задача была ответственная. Перелопатил Маркса и Ленина, искал места, где объясняют выход из поражения. Нашел опорные пункты для доклада. Перед собранием был спокоен. Говорил аргументированно. Первое – это сохранить кадры. Второе – может пройти и десять лет до новой революции, но надо ждать самый подходящий момент для восстания, для захвата власти. Чувствовал, что мои слова доходят до слушателей и среди них наступает успокоение. Когда собрание кончилось, Павел Тагаров закричал:

– Здравко! Ты ошибся!

– В чем?

– Цитата Маркса о том, что нужно ждать десять лет... Да мы доживем ли до этого времени? Нет, не надо было вспоминать Маркса».

Нетерпение – так была названа эта страсть к немедленным активным действиям в известной исторической повести Юрия Трифонова. Но обстановка требовала выдержки, и папа нашел у Маркса и Ленина теоретическое обоснование и такому ходу исторического процесса. Да, Маркс был прав, как и сам докладчик в Граце в трагичном апреле 1925 года: пусть не через десять, а через двадцать лет – но в Болгарии сменился общественный строй: победил Отечественный фронт.

Приблизительно через месяц после покушения на царя перед грацким комитетом встала задача создать нелегальный канал, по которому можно было бы перебросить из Югославии в Австрию и затем в СССР актив партии, находившийся там после *атентата*. Выбор пал на местность, расположенную между железнодорожной станцией Вис со стороны Австрии и станцией Дравоград со стороны Югославии.

«Как-то очень быстро и незаметно был включен в работу и я. Со временем до того привык к пересечению границы, что если, случалось, проходил месяц и меня не вызывали, я просто страдал, казалось мне, что не живу полноценно.

Канал представлял строго организованную систему. Решающим звеном в этой операции был переход границы. Техника перехода через границу требовала от нас ряд вспомогательных правил. Мы должны были иметь транзитную визу для Югославии. Останавливались в Белграде, откуда отправляли телеграмму в Вену, где сообщали о своем приезде. В Белграде нам сообщали, из какого лагеря и сколько человек мы должны забрать, время отправления. Мы не задерживались ни в Загребе, ни в Мариборе, никого не знали в этих городах, и нас никто

не знал. В Мариборе садились на поезд Марибор – Дравоград и выходили на остановке Мариенберг, откуда уже в темноте шли на север – сначала по шоссе через село, затем забирали направо и начинали подъем. Двигались гусиным строем. По шуму реки Драва мы ориентировались, в какой местности находимся. Прислушивались к мелодичному звону часов на католических церквях, который долетал из альпийских долин. До того мы их изучили, что по тембру узнавали, какой колокол какой церкви звонит, и таким образом засекали время и направление. Доходили до пограничной полосы. Прячась за деревьями, дожидались обхода пограничников, мерзли и дрожали от холода и напряжения. После того, как те уходили спать, бегом пересекали границу. Склон австрийский был достаточно крутым, и было трудно удержаться на нем. Часто скатывались в зеленые заросли, хуже было, когда вместо мягкой травы сваливались в колючую ежевику. Тогда, пройдя зону обстрела, мы находили силы посмеяться и спеть шепотом: “Брали момци къпини във алтййски градини” (“Собирали парни ежевику в альпийских садах”. – И.З.). До пограничной станции Вис добирались ранним утром, часто в темноте. При подходе поезда быстро садились. После двухчасового пути были в Граце, после некоторого отдыха отправлялись в Вену».

Из воспоминаний папиного стажера Давида Попова, студента-медика:

«Есть эпизоды в жизни, которые не забываются. Вечно буду помнить наше путешествие. Ехали пассажирским поездом, с расчетом достичь границы уже в сумерках. Вышли, на последней станции наняли фаэтон, чтобы переехать незаметно один мост. Хотели проехать по селу и миновать таможеню на фаэтоне. Но извозчик отказался. Остановился в начале села. Было полнолуние. Светло, как днем. Прошли таможеню, покинули село, дошли до большого дерева и переобулись – надели туристические ботинки. В этот момент услышали четкие шаги. Со стороны границы шел пограничник. Затаив дыхание, легли на землю, и он прошел мимо нас в каких-нибудь 4–5 метрах, не заметив. Опять направились к границе. Дошли до определенного места. Сошли с тропинки, пошли напрямик через лес. Надо было ждать полуночи – момента, когда проходят патрули. После этого в течение двух часов было спокойно. Время двигалось медленно, наконец, настала половина первого. Пошли очень осторожно. До пограничной черты дошли незамеченными. Мой учитель (Здравко Мицов) сказал:

– Давид, я перебегу первый, а ты через несколько минут, за мной.

Прожил несколько тяжелых минут, когда осознал, что Здравко уже на противоположной стороне границы. Прошел и я. Пробрались сквозь высокие папоротники и заболоченную почву. Немножко посомневались, не заблудились ли мы. Не оказались ли мы вновь в Югославии? Наконец, вышли на полянку, которую пересекли по очереди бегом, один за другим, на расстоянии. Заметили сельский домик, во дворе которого была куча собранных яблок. В домике горел огонь. Приблизился к окну и услышал немецкую речь. Успокоились – значит, в Австрии. Двинулись по поляне, искали колодец, который знали, что должен быть поблизости. Вдруг на нашем пути возник человек. За спиной его что-то поблескивало. Подумал, что пограничник, и решил, что мы пропали. Оказался один паренек с аккордеоном, на плече. Мой учитель напустился на него, почему он так поздно болтается. Мальчишка испугался и вместо того, чтобы расспрашивать нас, откуда мы и почему здесь ходим, начал оправдываться и просить прощения. Наконец, достигли колодца. Это нас совершенно успокоило. Мы поели, запили холодной водой и немного передохнули. После чего направились к одной предпоследней железнодорожной станции, на которой садились утром рабочие, едущие в Грац. Сели на поезд и к 7 часам уже были в Граце. Вечером уже были в студенческой столовой. Там нас ждали товарищи из партийного ядра».

Я не знаю, сколько человек перевел папа. Но об одной девушке, которую он перевел, хочу рассказать.

Девушка была красива. У нее была длинная русая коса и большие голубые глаза. И еще – от спокойного, гордого лица девушки исходил свет. Как и всех, папа хлопнул ее по плечу перед переходом границы и сказал: «А теперь беги». И она перебежала границу. А потом спустилась с папой через колючий кустарник по крутому склону, умылась у известного папе колодца. Папа дал ей щетку почистить пальто, и они сели в вагон вместе с рабочими, отправляющимися на работу в Грац. Звали эту девушку Елена Димитрова. Она была родной сестрой Георгия Димитрова.

Их было в семье четверо – Георгий Димитров, его брат Тодор и сестры Магдалена и Елена. Тодор Димитров погиб, как я уже писала, в страшном 1925 году. Его истязали долго и особенно жестоко. От стройного красивого юноши осталась одна кровавая тень.

А Елену, красавицу с толстой косой, с умным гордым взглядом, папа перевел через границу, спас. Елена Димитрова в СССР вышла замуж за Вылко Червенкова и родила Володю и Иру. Спустя много лет их жизненные пути пересеклись с моим. О том, как и чем расплачиваются люди, связанные с политикой, при любом строе, о Володе, моей любви к нему, о его смерти, об Ире – я расскажу позже.

«Канал» действовал с мая 1925-го по август 1927 года. В течение 27 месяцев работы по нему прошли 250 человек. И не было ни единого провала.

«250 человек были переброшены через наш канал. Все учились в СССР. И после 9 сентября вернулись в Болгарию. Квалифицированными партийными, военными, государственными специалистами. Некоторые из них: Георгий Дамянов – председатель Народного собрания, Иван Михайлов – армейский генерал, зам. Председателя Министерского Совета, Петр Панчевский – армейский генерал, военный министр, Фердинанд Козовский – генерал-лейтенант, начальник Главного политического управления при Болгарской народной армии (БНА), Иван Кинов – генерал-полковник, начальник Генерального штаба, Димитр Гилин – генерал-майор, заместитель министра внутренних дел, Асен Греков – генерал-лейтенант, начальник Генерального штаба (БНА), Григорий Попов – генерал-майор, начальник тыла (БНА), Стоян Сандов – генерал-майор Министерства внутренних дел, Иван Пейчев – генерал-майор, зам. министра сообщений, Кирилл Лазарев – министр финансов, Жак Натан – академик, Крум Бычваров – генерал.

Это было большой наградой для нас, так как видели, что усилия нашей молодости не пропали даром. Грацкий канал является до сих пор символом кристально чистого идеализма молодых болгарских студентов, коммунистов», – так писал папа незадолго до смерти.

Разбирая папины бумаги, я наткнулась на ветхий, измятый лист газеты. С обеих сторон помятой, истонченной временем мягкой страницы я увидела колонки с фамилиями. Все еще не понимая, я взглянула на заголовок: «О поименной политической реабилитации болгарских политэмигрантов, репрессированных в СССР» («Работническо дело», 11 сентября 1989 года). Всего в списке насчитывалось 414 человек. Под номером 121 стоял мой отец, Здравко Василев Мицов, род. 1903 г., г. Плевен; под номером 158 – Кирчо, под номером 192 – Мирчо. Рядом с Мирчо я поставила крест. Он был расстрелян.

Среди репрессированных были и Фердинанд Козовский, № 309, и Иван Кинов, № 124, – те, кто встречал папу на вокзале в Нише, и Петр Исков, № 256, которого папа спас в Австрии от ареста. Член ЦК БКП, осторожный человек, который выбрал для перехода «папин» канал и папу в качестве проводника, он был расстрелян в 1939 году. Был и Петр Абаджиев, № 249, который, по слухам, участвовал в покушении на царя Бориса в 1925 году...

Я искала тех, кого папа мог переводить через границу. На годы с 1925-го по 1927-й пришлось 203 человека. Они были арестованы в 1937–1938 годах, подвергались пыткам в стране, давшей им прибежище. Я еще раз внимательно прочитала список, теперь ставя кресты против тех фамилий, кто был расстрелян в 1937–1938 годах. Из 203 человек, покинувших Бол-

гарию, в основном, вероятно, через «папин» канал, практически каждый второй был расстрелян в Советском Союзе, в стране, которая представлялась идеалом осуществления их заветной мечты...

Да, все ключевые посты в первое десятилетие существования Болгарской Республики были заняты политическими эмигрантами из Советского Союза. Но половина из тех, кто пересек границу, спасаясь от фашистского террора в Болгарии в 1925–1927 годах, преданные партии люди, погибли или отсидели в тюрьмах в боготворимой ими стране.

Аккуратно, медленно складывая газету, я испытывала странное чувство. Вместе с ошеломляющей болью я чувствовала удовлетворение: папа разделил судьбу с теми, кого так умело и ловко спасал от фашистского террора в 1925–1927 годах. Он, как и многие поименованные в этом списке, отсидел 20 месяцев в ленинградских тюрьмах.

Еще перед Третьим конгрессом Коминтерна в 1921 году в Москве Лениным был одобрен ряд предложений о совместных действиях Коммунистического интернационала и 2-го, 2 ¹/₂-го и Амстердамского интернационалов. Еще тогда был разработан вопрос о тактике единого рабочего фронта. А с конца 1924 года, после того как схлынула революционная волна, вопрос о создании единого рабочего фронта встал очень остро.

В Болгарии образование единого рабочего фронта было особенно необходимо, а условия для его создания были более тяжелыми, чем в других странах Европы: два неудачных восстания, *атентат* и последовавший за ним жестокий белый террор – все это привело к распаду рабочих организаций, арестам их руководителей. Борьба за объединение рабочих сил была одним из основных пунктов в программе партии.

И вот в марте 1926 года представляется такая возможность – в Болгарии должна состояться Открытая профсоюзная конференция балканских стран, которую организуют профсоюзы «широких» социалистов с представителями левого крыла Амстердамского интернационала (реформистские профсоюзы).

«В конце марта 1926 года меня вызвал секретарь Заграничного бюро Гаврил Генов и объявил, что ему приказано передать мне поручение Георгия Димитрова. Я должен был переправить в ЦК партии в Софии решение Заграничного бюро. Мне объяснили, что почтой отправлено письмо, но то, что я должен сообщить, я должен сделать устно. Мне сказали, что уверены, что я правильно пойму поручение и что рассчитывают на мою память, чтобы воспроизвести в Софии все то, что мне скажут в Вене. На протяжении трех дней велась подготовка, которая, конечно, не прошла без репетиций и экзаменов».

Общая часть поручения включала 11 пунктов: конкретные задания и указания ЦК. Необходимо было запомнить множество адресов, паролей и указаний по конспиративной технике, встретиться с рядом людей, проследить поведение и охарактеризовать как человека Едо Фимена (секретаря союза транспортных рабочих при Амстердамском интернационале); после возвращения – представить подробный доклад Коминтерну.

Я пытаюсь представить, как папа после двухлетнего отсутствия появился в Болгарии, причем был напичкан секретными указаниями заграничного ЦК. Все это требовало особой конспирации. Цвятко Николов, «черный капитан» из Плевена, один из яростных карателей во время белого террора, хвастался по пьянке: «Я – вторая достопримечательность Плевена. Этот город прославили две великие личности: “белый генерал” Скобелев и “черный капитан” Николов». Незадолго до приезда папы Плевен посетил Цанков. Он был приглашен плевенскими властями на открытие нового здания городского театра. Мэр города выступил с речью:

– Мне выпала честь от имени плевенских граждан высказать вам благодарность за все, что вы сделали. Щажу вашу скромность, но не могу не сказать, что вы взяли на свои плечи все трудности Болгарии... Мы верим в то, что вы делаете, и нам остается только молить Бога о

ниспослании вам долгих лет жизни. Благодарю вас за то, что вы дали мне возможность пережить моменты умиления и идейной экзальтации.

Это в городе, который поднял первое в мире антифашистское восстание при приходе к власти Цанкова! Конечно, о поездке в Плевен для встречи с матерью не могло быть и речи.

Я думаю: куда пошел папа, сойдя с поезда в Софии, как он был одет? Где ночевал? Вдруг я вспомнила: есть у меня маленькая коричневая фотокарточка, она очень интересовала меня в детстве, я часто ее вертела в руках... На ней два вагона – скорее, два тамбура, один к одному, открытые, широкие, под навесом. Сразу видно, что вагоны иностранные, времен Первой мировой войны. Такие вагоны я видела только в кино. На площадках тамбуров, на ступенях и около вагонов стоят и сидят люди. Они тоже из той – или близкой к той – неизвестной мне эпохи, как и вагоны. Это люди явно небогатые. На их серых лицах схожее выражение – замкнутость. Улыбаются разве что две девушки, стоящие на ступенях. Одеты кто как – кто в костюмах, кто в кителях без погон, кто в фуражках, кто в кепках, есть даже двое мужчин в галстуках и плащах и один в национальной одежде – в черной меховой шапке и в белой рубашке, подпоясанной высоким поясом. И в центре этой сбившейся толпы, выходящей из вагонов, стоит молодой человек. Это мой папа. На нем странного фасона фуражка со слишком высокой тульей, белая рубашка, на плечи накинута куртка, и на груди – это более всего меня удивляло и заставляло всматриваться в фотографию в детстве – у него бант. Большой, предполагаю – красный. Я думаю, что лучшего маскарада для прибытия на конференцию профсоюзов и не придумать. А поначалу я думала, что он приехал в Софию элегантным иностранцем. Нет, вот такой провинциальный парень, красавец, не очень далекий, украсивший себя большим бантом. Белая рубашка, какая-то куртка. Он стоит, расправив плечи, засунув руки в карманы брюк. Он как бы во главе всей этой многочисленной группы делегатов профсоюзной конференции, выпавшей из двух вагонов на перрон Софии. Да, вполне возможно, что он приехал из Югославии, и, конечно, он был делегатом конференции, так как где-то же он должен был видаться и встречаться с Едо Фименом. А ночевал он у Любы Топенчаровой, недаром он в восемьдесят лет вспомнил ее адрес. Маленький домик на окраине Софии, у Вайсовой мельницы. Теперь – площадь Возрождения. Но сначала он явился к ней в «дружество “Орел”», где она работала, на улицу Марии-Луизы.

...Папа медленно шел по улицам Софии. После Вены София выглядела неправдоподобно провинциальной. Маленькие дома, грязные улицы. По левую руку вдалеке виднелась ограда кладбища «Орландовцы». Около «Львиного моста» на углу стояло четырехэтажное грязное здание – Дирекция полиции. Спустя несколько месяцев в подвалах этой тюрьмы его будут зверски избивать. Он пересек мост и пошел по улице Марии-Луизы. Миновал мечеть, турецкую баню, справа находился большой рынок «Халите». Медленно прошел мимо здания, где его ждала Люба Топенчарова. Там и находилась явка ЦК БКП. Зашел в кафе, из окна наблюдая за улицей, понял, что хвоста за ним нет.

Мне кажется, Люба ему сразу понравилась. В папиной книге есть только две женские фотографии – Елены Димитровой и Любы Топенчаровой. Я долго вглядываюсь в ее лицо. Коротко стриженная, красивая девушка в белой блузке, тонкие брови, кроткий взгляд, высокий лоб. В ней ясно видна жертвенность, кротость и ум. Папа уже в СССР узнал, что Люба вышла замуж за Трайчо Костова. Это тоже говорит о многом – интересовался. Никакие женские имена больше не упоминаются на страницах папиной книги.

Люба приняла папу сначала в конторе, там он ей объявил пароль, а потом она его представила Асену Бояджиеву, которому папа и передал поручение из Вены. Он часто виделся с Любой – об этом говорит и его замечание, что у Любы он не раз встречал запросто заходившего к ней видного парня, как потом выяснилось, ее брата Владо. Да, вполне возможно, что Люба была первой девушкой, запавшей в его сердце. Пробыл папа в Софии всего 14 дней – пока длилась конференция.

«9 апреля Балканская профсоюзная конференция была открыта. На ней присутствовали представители профсоюзов Сербии, Хорватии, Словении, Чехии, Венгрии, Румынии и Греции. Конференция открылась рабочим хором, который исполнил “Интернационал”. По прошествии нескольких лет после побоев, тюрем, убийств, расстрелов, сжигания в печах “Общественной безопасности” звуки международного гимна пролетариата освежили серые лица борцов за победу трудящихся.

Надо сказать, что значительная часть партийного руководства в Софии (“тесняки”) не были согласны с предложенной тактикой единства с “широкими” социалистами и негодовали, но все же выполнили директиву Заграничного бюро. После длительных переговоров между революционными и реформистскими профсоюзами 21 июля 1926 г. было торжественно провозглашено объединение двух профсоюзных болгарских организаций и выход “широких” профсоюзов из Амстердамского интернационала.

Дата 21 июля 1926 г. открыла перспективы единения болгарского пролетариата, массовое сплочение в единые классовые профсоюзы, возможность усиления борьбы против капитализма, против буржуазного строя. А я, член Грацкой ПГС, был счастлив, что принимал участие в осуществлении этого единства. Мы понимали значение рабочего единства, которое могло привести к мировой революции. С приездом в Вену я представил подробный отчет ЦК БКП. Тогда же Димитров написал статью, в которой придавал большое значение этой конференции:

“Стремление болгарского рабочего класса к единству ярче всего проявилось во время Балканской конференции в Софии”, – писал Димитров. Успех хорошо обдуманной, организованной и проведенной исполнительным бюро БКП в Софии акции единого фронта был огромен. Исполнительное бюро ЦК БКП в Софии и ЗБ БКП в Вене были довольны точным исполнением важной директивы».

Вряд ли кто-то еще был параллельно послан в Болгарию, иначе не хранился бы в архивах до последнего времени папин доклад Коминтерну после возвращения в Вену. И возможно, информация, которую доставил папа, и его действия помогли создать общий рабочий фронт, выйти из подполья и легализоваться коммунистам. Информацию с указанием, как это осуществить, папа перенес, так сказать, в своей голове, он обладал феноменальной памятью, о которой все знали.

Спустя всего месяц папе опять предстояло ехать в Югославию.

В мае, в канун празднования Дня славянской письменности – праздника Кирилла и Мефодия, – всегда жарко. А вот в 1926 году май выдался прохладным. Папу знобило еще накануне. Ему не хотелось не только ехать, а даже выходить на улицу. Хотелось лежать в кровати, накрывшись одеялом. Да еще бы с грелкой. Хотя добираться до Югославии надо было на поезде, с паспортом; паспорт на имя Кирилла Кирчева, но фотография – папы, наклеена профессионально Мирчо Колевым.

С утра как будто стало лучше, папа опять прополоскал горло. В сером клетчатом костюме, дешевом, но хорошо сшитом, в белой рубашке с галстуком, он засовывал в большую студенческую сумку учебники по анатомии, в переплет которых были вклеены доллары. Уже стоя на пороге, снял с вешалки плащ и в карманы плаща засунул советские газеты, где сообщалось о белом терроре на Балканах, и письмо, вчера переданное знакомым. Обычно папа избегал рисковать, но сейчас как будто все в порядке – документы есть. Он быстро шел по улицам Граца, трамвай подошел согласно расписанию. Может, все-таки надо было отложить поездку? Но в Белграде на явке ждали. Он сел в поезд за две минуты до отхода. Это тоже вошло в привычку. Солнце припекало, папа прошел в предпоследний вагон, поделенный на две части, половина вагона была обычная, с купе, другая – открытая платформа, прикрытая только сверху. Папа сел на левую, солнечную сторону и повернулся к солнцу спиной, ощущая

тепло. И действительно, стало лучше. Озноб почти прошел. Холодом потянуло уже около реки, когда выехали на равнину. Папа встал и перешел во вторую часть вагона. Нашел пустое купе, сел у двери, вытянув ноги, прислонился головой к угловой подушке и запахнул плащ. Нет, явно не стоило ехать в открытом вагоне, сейчас озноб усилился, а ехать еще несколько часов. На станции Марибор в вагон вошли пограничники и таможенник. Папа сидел вытянув ноги, прикрыв глаза. Что-то сегодня долго. Наконец дверь купе открылась.

Папа спокойно протянул паспорт – конечно, все могло случиться, но маловероятно, паспорт легальный. За пограничниками шли таможенники. Они задержались в соседнем купе. «Что-то сегодня долго», – опять подумал папа и прикрыл дверь от сквозняка.

– Ваш багаж?

Папа молча указал на сумку, лежащую рядом на сиденье.

– А это? Что в вашем чемодане?

Папа поднял голову и увидел, что в багажной сетке над его головой лежит большой чемодан. Этого чемодана он не видел. Сердце сразу подскочило: как же он не заметил? Провал?

– Это не мой, – сказал папа отрывисто.

– Не ваш?

Папа не ответил. Взглянув на таможенника, он мрачно отвернулся к окну. Папа еще не знал, что это первый в его жизни страшный провал.

– Не ваш, – повторил таможенник с усмешкой. – А что, если мы его возьмем?

Папа молча пожал плечами. Он сохранял спокойствие, все было немножко похоже на сон. Опять начался озноб. Нет, к нему не должно быть претензий.

На перроне сновали люди. Было много военных. Обычно такой наблюдательный, все схватывающий, папа только вяло отметил – много военных. Злой, что пришлось выйти из вагона, злой на себя, что не увидел чемодан и впутался в такую историю, он шел следом за таможенниками, несшими чужой чемодан. Он все еще не понимал, что это начало страшного провала. Его сильно знобило, он на ходу поправил сумку, стал застегивать плащ, и тут раздался женский визг. Кричали по-немецки:

– Куда вы несете мой чемодан?

Кричала элегантная, хорошо одетая женщина.

– Мадам, это ваш чемодан? – Таможенник стоял навытяжку.

– Конечно, мой. При чем тут этот молодой человек? Вор?

Таможенник повернулся к папе:

– Следуй за нами.

Дама презрительно оглядела папу. Открыли чемодан. И папа почувствовал, как похолодели руки. На самом виду лежал дамский пистолет с перламутровой ручкой. Папа бросил быстрый взгляд на даму, но та спокойно объяснила, что носит его для самообороны, так как едет на курорт в Далмацию одна.

– Вот как, – сказал с усмешкой таможенник и, запустив руки глубже, достал целую пачку банкнот.

– Вам придется задержаться. – Таможенник сохранял почтение и, обернувшись к папе, сказал: – Свободен. Садись в поезд.

Тут только пережитое волнение дало себя знать. Войдя в злополучное купе, папа хлопнул себя зло по лбу и больно прикусил язык. Как он мог забыть? В кармане плаща советские газеты. От газет надо было избавиться, и как можно скорее. Папа вышел в коридор. В коридоре на скамейке сидел человек. Явно шпик. Папа огляделся и, когда поезд тронулся, направился в уборную, но выбросить газеты не смог. За ним уже внимательно следили. Он опять вернулся в купе и постарался успокоиться. Следующая остановка – Загреб. Вероятнее всего, там его задержат. Он снял плащ и аккуратно сложил.

Загреб. Папа высунулся в окно. Весь перрон был заполнен военными, играл духовой оркестр.

– Что происходит? – крикнул папа из окна.

– Король Александр приехал на конгресс югославских офицеров запаса!

– Сербский король!

Так вот почему такой переполох на границе! В вагон быстро поднимался солдат с винтовкой. Шпик вошел вместе с солдатом.

– Пошли!

Папа повесил сумку на плечо, повесил на руку плащ. Его повели в участок при вокзале. Начался допрос. Куда едет? Откуда знаком с графиней? Оказалось, что «дама с чемоданом» – австрийская графиня. За окном продолжал звучать духовой оркестр, раздавались гудки паровозов, пахло гарью. Папа горячо и подробно, стараясь вызвать доверие, рассказывал историю: студент в Граце, едет в Югославию, единственный багаж – его учебники, скоро экзамены, перешел в купе, потому что поднялась температура, чемодана не заметил, а дамы никогда раньше в глаза не видел. Как будто бы поверили. Один даже сказал:

– Свободен. Можешь ехать следующим поездом.

Но тот, который следил в поезде, спросил:

– А вы его обыскали?

В плаще, который папа повесил при входе в участок, нашли газеты. Благожелательное отношение мгновенно исчезло.

– А ну, позови начальника станции! – крикнул шпик в штатском.

– Ну и ну! Велика птица! – закричал сразу начальник, увидев газеты, и тут же распорядился: – В тюрьму.

Из воспоминаний болгарского разведчика Ивана Крекманова: «...я должен встретить курьера и получить средства. – А кто курьер? Как он мне представится? – Настоящее его имя Здравко Мицов, студент в Граце, но он будет ехать с документами своего коллеги Кирилла Кирчева. Паролем будут служить немецкие учебники, в которых спрятаны средства, которые ты возьмешь.

Приехал в Белград, но в определенный день никто не явился на явку. Остался ждать следующего дня. Но и на следующий день никто не явился. Начал думать, что курьер провалился. Так как у меня не было документов для пребывания в Белграде, отправился к Ивану Андрееву, нашему представителю при временном заграничном представительстве “Единогo фронта”. Встретился с земледельческими министрами Недялко Атанасовым и Христо Стояновым и от них узнал неприятную новость о провале курьера».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.